



Николай  
Печерский

МАСШТАБНЫЕ РЕБЯТА



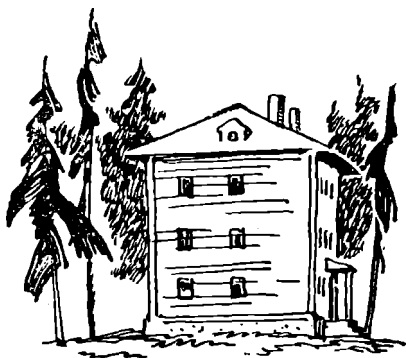
Цена 36 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
МОСКВА 1971**





Н и к о л а й П е ч е р с к и й

# МАСШТАБНЫЕ РЕБЯТА



П о в е с т ь

## ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Многие из вас, вероятно, читали веселые и увлекательные повести Николая Печерского: «Генка Пыжов — первый житель Братска», «Красный вагон», «Кеша и хитрый бог» и другие.

Писатель много лет жил в Сибири. Вместе с геологами, строителями, таежными охотниками и рыбаками он побывал в самых далеких уголках этого сурового, романтического края и с большой теплотой рассказал в своих книгах о людях Сибири и о вас, замечательных мальчишках и девчонках, — любознательных и жизнерадостных, смешных и лукавых, правдивых и справедливых.

Эта повесть писателя уведет вас в Якутию — на берег бурной речки Вилюй, на строительство рабочего поселка. Сюда приезжает дружный и отчаянный класс 7 «А» — «маштабные ребята», как они называют сами себя. Здесь, в тайге, ребят на каждом шагу поджидают неожиданные истории и приключения.

Напишите нам, ребята, понравилась ли вам эта книга. Наш адрес: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

*Рисунки А. Тамбовкина*



## Глава первая

### НОЧЕРГА

Дома меня ждал сюрприз: моим воспитанием пачал заниматься отец. Мой отец работал геологом и по целым месяцам пропадал в тайге. Мать тоже была геологом, но домой приезжала чаще, потому что брала отпуск за свой счет. Если бы мама не воспитывала меня за свой счет, из меня получилось бы черте что. Так говорили мой отец и моя бабушка.

Теперь отец решил, что мама меня недовоспитала, и стал довоспитывать сам.

— Показывай свой дневник,— сказал отец, когда я пришел домой.

Я обиделся на отца, но промолчал. Раз он верит дневнику больше, чем собственному сыну,— пускай проверяет.



Я стоял за спиной отца и краем глаза поглядывал, как он перелистывает желтые, замусоленные по краям странички. За отметки я не боялся. В дневнике у меня были сплошные пятерки и четверки, по географии стояла тройка без минуса. Учитель мне сказал: «Не хочу портить твою репутацию и ставлю минус условно».

Отец полистал дневник, отложил в сторону и спросил:

— А где твоя тетрадка с сочинением?

Откуда отец знает, что мы писали сочинение, и почему он боится за это сочинение? Русский я знаю, как бог, и могу писать без ошибок даже с закрытыми глазами. В первой четверти Ленька Курин перекатал у меня самостоятельную работу по русскому языку и получил пятерку. Жаль только, что Ленька не ценит настоящей дружбы.

Я сказал отцу, что сочинений нам еще не раздавали и, если он так хочет, пусть смотрит обыкновенную тетрадку по русскому. Вот она, эта тетрадка!

Отец склонился над тетрадкой.

Мне видно его смуглую щеку и темный узенький глаз. Отец у меня якут, а мать русская. У отца я взял и крутой лоб, и нос с маленькой горбинкой, и черные, как горелый пень, волосы. Только глаза у меня голубые — точь-в-точь как у матери.

Отец у меня молодой, но у него уже много седых волос. Он мало спит и много работает. Я тоже хочу быть как отец, но у меня пока ничего не получается. Я люблю спать и не люблю работать. Но я не совсем испорченный человек. Я все понимаю и, наверно, скоро возьму себя в руки. Так говорят и мама, и бабушка, и учителя.

Отец все читает и читает мою тетрадку. Он приехал на рассвете и почти совсем не спал. Мне хочется сказать отцу: «Не мучай себя и ложись спать. Теперь я все понял и перевоспитаюсь сам».

Мешают мне гордость и самолюбие. Виноват не я, а отец. В тетрадке одна пятерка за другой, а он хмурит

брови и что-то ищет. В конце концов так можно придраться к кому угодно. Даже к профессору!

Отец, как я и предполагал, нашел, к чему прицепиться.

— Что это такое? — спросил он и подчеркнул ногтем какую-то букву.

Я посмотрел туда, где пропахал ноготь отца.

— Это «д», — спокойно ответил я, — пятая буква алфавита.

Бровь отца изогнулась вопросительным знаком, потом снова выпрямилась и стала решительной и строгой, как линейка.

— Это не пятая буква, а кочерга, — сказал отец. — Кто тебе разрешил так писать?

Станный вопрос. Разве я первоклассник, чтобы рисовать палочки и крючки? Букву «д» с кочергой внизу я придумал сам и буду бороться за нее, как лев.

Пусть только попробуют отобрать у меня кочергу!

Сражаться за свои права мне не пришлось. Все закончилось как-то очень быстро и обидно.

— Садись и пиши сто раз букву «д», — сказал отец. — Потом покажешь.

Вот тебе и лев! Отец ушел в спальню, а я сел за каторжный, бесполезный труд. Исписал страничку, промокнул промокашкой и задумался. Почему отец так допытывался про сочинение?

Сочинение было как сочинение. Мы писали их уже миллион штук. И про любимого героя, и про летние каникулы, и про то, с кого брать пример. Про летние каникулы я немного приврал, а про героя и пример написал точно. Храбрее Павки Корчагина на свете нет никого!

Последнее сочинение было на тему «Кем ты хочешь быть?». Откровенно говоря, я еще не выбрал себе специальность. Сразу всем быть нельзя, а кем-нибудь одним

быть не хочется. Так у всех наших мальчишек: выбирают-выбирают и ничего не могут выбрать.

Долго я не мог начать свое сочинение. Все уж давно скрипели перьями, а я все сидел и ломал голову, кем же мне быть.

Рядом со мной сидел мой друг Ленька Курин. Он нахально поглядывал на меня и катал уже третью страницу. Леньке хорошо. Он в два счета может выдумать и про специальность, и вообще про все, что хочешь. В прошлом году Ленька раззвонил по всей школе, будто у нас в тайге упал метеорит. Он лично ходил в тайгу и приволок оттуда пепельно-рыжий слиток. Диковинная штука эта переходила из рук в руки. Ребята шупали слиток, нюхали его и даже пробовали языком. Метеорит был самый настоящий, без подмеса — тяжелый, ноздреватый, с радужными следами жаркого пламени. Мы смотрели на метеорит, на Леньку и завидовали.

История с метеоритом закончилась полным конфузом. Оказалось, метеорит был вовсе и не метеорит, а самый обыкновенный, никому не нужный шлак. Ученик нашего класса Маниченко, или просто Манич, видел, как Ленька лазил в кочегарку и ковырял кочережкой в топке.

Странно, но даже после полного разоблачения Ленька не сдался. Он выстругал дощечку, покрасил желтой краской и прикрепил проволочкой свой необыкновенный слиток. Сверху Ленька приклеил узенькую полоску бумаги и написал черной тушью: «Якутский метеорит № 1. Найден учеником седьмого класса Л. Куриным».

Теперь Ленька наверняка придумал какую-нибудь новую штуковину и хочет утереть всем нос. Я заглянул к Леньке в тетрадку, но он закрыл рукой и засопел, как будто бы я отбирал у него метеорит № 1.

Ну берегись, несчастный! Я обмакнул перо в чернила и с ходу написал, что желаю быть космонавтом и первым полечу на Луну. И тут мне сделалось жутко. Будто

я уже и в самом деле сел в межпланетный корабль и помчался в космические дали. Про космонавта я написал назло Леньке. На самом деле я боюсь всего — и темноты, и мышей, а когда дорогу перебегают кошка, берусь за пуговицу. Иногда это помогает, а иногда нет. Но чаще не помогает.

В спальне зашипели и ударили часы. Одиннадцать. Я перевернул страничку и снова начал писать бесконечное «д». Хотелось спать. Перед глазами прыгали какие-то синие лохматые тараканы. Я писал «д» и мимоходом думал про сочинение, которым ни с того ни с сего заинтересовался мой отец, про моего друга Леньку Курина и нашу ссору.

С Ленькой Куриным я поссорился на всю жизнь из-за Иры-маленькой. Между прочим, у нас в классе две Иры — Ира-большая и Ира-маленькая. Я дружил с Ирой-маленькой, готовил с ней уроки и катался на ши-роких, подбитых оленьей шкурой лыжах.

Недавно у Иры-маленькой был день рождения. Я вырезал из журнала большую красивую розу, наклеил ее на белый листок и написал внизу красивыми печатными буквами: «На память Ире». На перемене Ленька тайком вытащил мою розу из портфеля и нахально приписал: «На память Ире от ее кавалера Коли Квасницкого». Роза была обернута газетой и сверху перевязана ниткой. Я ничего не знал про подлые Ленькины штучки и подарил Ире-маленькой розу вместе с кавалером. Ира не разговаривала со мной целую неделю. Теперь я ни за что не помирюсь с Ленькой! Пускай ищет себе нового друга. Очень он мне нужен, этот Ленька!

Я накатал еще одну страничку и решил посчитать, сколько у меня получилось «д». Ого, целых сто пятьдесят штук! А я, дурак, мучаюсь!

Я промокнул тетрадку, взял ее, как подарок, обеими руками и понес в спальню. На диване, позабыв о кочерге, а возможно, и обо мне, спокойно спал мой отец.

## Глава вторая

### ОПЕРНЫЕ ПЕВЦЫ

Утром отец не сказал мне про кочергу ни слова. Даже не заглянул в тетрадку, над которой я корпел целый вечер. Для меня все стало ясно и понятно: кочерга — это только предлог и самое главное, а возможно, и самое неприятное еще впереди.

Так оно и получилось. Мы сидели с отцом за столом, пили чай и молчали. Отец помешал ложечкой в стакане, облизал ее неизвестно зачем и спросил:

— Что у вас все-таки случилось с этим сочинением?

Я пожал плечами:

— Ничего не случилось. Я ничего не знаю...

Отец подтянул краешки губ влево, как будто у него заболели зубы, и склонился над стаканом. И это было все. Я знал своего отца. Теперь он умолк надолго — на день, на два, а может быть, даже на целый месяц. Этот срок отец оставлял мне для того, чтобы я прочувствовал свою вину и перестроился. Отец делал так всегда. Это был его метод воспитания.

Я шел в школу и злился на себя за то, что не умел как следует говорить и ладить с отцом. Впрочем, что я мог сделать, если и сам толком не знал про сочинение.

Кто-то распустил по школе слух, будто весь класс написал вместо сочинения какую-то чепуху и завуч Таисия Андреевна лично назвала нас всех тунеядцами. Слухам этим никто не поверил. Конечно, мы не святые. Были у нас и двоечники, и разгильдяи, и даже один обжора Манич, то есть Маниченко. Но тунеядцы — это уж слишком!

И все же после разговора с отцом у меня чуточку пощипывало сердце. А что, если это и в самом деле так? Не случайно же заболел наш классный руководитель Пал Палыч и вместо него назначили учительницу первоклашек, нашу физкультурницу Зинаиду Борисовну. Бол-

тали, будто Пал Палыч не вынес позора и слег в больницу из-за нас. Ребята ходили к Пал Палычу, но толком ничего не узнали. В палату к Пал Палычу не пустили.

В этот день я пришел в школу раньше, чем надо. В классе уже стоял шум и гам. Вокруг только и слышалось: «Пал Палыч», «тунеядцы», «сочинение»... Не отставал от всех и Манич. Он всегда сидел на самой последней парте и даже на уроках ухитрялся поедать свои пончики и коржи. Сегодня Манич прикончил свой провиант досрочно. Теперь его чувства требовали простора и гласности. Манич стучал кулаком по крышке парты и гудел со своей галерки: «Не позволим!»

Но вот прозвенел звонок и в класс неожиданно вошла Зинаида Борисовна. Вокруг все моментально утихло.

— Дети, почему вы шумите? — строго спросила Зинаида Борисовна.

Мы молчали. Во-первых, на такой вопрос одним словом не ответишь, а во-вторых, мы уже были не дети. Все учителя называли нас «ребята». Ребята—более взрослые и самостоятельные, чем дети. Это знали все. Не знала этого только Зинаида Борисовна.

Зинаида Борисовна постучала пальцем по столу и еще строже спросила:

— Дети, я вас спрашиваю, почему вы шумите?

Ленька, который сидел рядом со мной, завозился, засопел и вдруг отрывисто и зло сказал:

— Мы не шумим. Это вам показалось.

Зинаида Борисовна впилась взглядом в Леньку:

— Кто же тогда шумел: Пушкин?

На последней парте захихикал Манич. Но больше никто не смеялся. Класс хранил гробовое молчание. Мы не любили старых острот.

— Я тебя спрашиваю, кто шумел: Пушкин? — повторила Зинаида Борисовна.

Ленька упрямо нагнул голову и глухо, как из бочки, сказал:

— Лев Толстой.

Класс ахнул от хохота. Мы смеялись не над Пушкиным и Львом Толстым. Просто нам было весело.

Хорошо смеяться, если смеются все сразу. Но если ты смеешься, а кто-то кривится и хмурит от злости брови — долго не посмеешься.

Мы посмотрели на Зинаиду Борисовну и смолкли. Только Манич все еще хохотал и визжал на своей последней парте. Он никак не мог остановиться.

Зинаида Борисовна покраснела, а затем стала вообще какой-то серо-буро-малиновой.

— Повтори, что ты сказал? — зловеще прошипела она.

Ленька молчал.

— Ты повторишь или нет?

Ленька поднялся со своего места и стал, как штык:

— Не повторю!

Зинаида Борисовна подошла к Леньке вплотную и, выделяя каждое слово, сказала:

— Выйди сейчас же из класса!

В классе стало удивительно тихо. Мы смотрели на Леньку и Зинаиду Борисовну. Должно быть, вот так смотрят на борцов или боксеров: кто победит, а кто шмякнется на землю и сдастся.

Зинаида Борисовна постояла еще немного возле Леньки, пожала плечами и вдруг сказала:

— Ну хорошо, если ты не хочешь выйти из класса, тогда выйду я!

Не успели мы сообразить, что к чему, Зинаида Борисовна была уже за дверью.

Мы сразу же набросились на Леньку:

— Тоже остряк выискался!.. «Лев Толстой»!

Мы были объективными и прекрасно понимали, что авторитет учителя подрывать нельзя. Раз Зинаида Борисовна сказала — выйти из класса, надо было выйти. Подумаешь, трудно ему было постоять за дверью пять минут!

Теперь беды не миновать. Зинаида Борисовна пошла жаловаться на нас завучу Таисии Андреевне. Таисия Андреевна была у нас ИО — то есть исполняющая обязанности директора. Директор учился заочно в педагогическом институте и теперь поехал сдавать экзамены в Якутск.

Таисия Андреевна была ИО первый раз в жизни. Видимо, поэтому она всего боялась и без конца созывала всякие совещания. Наша ИО — совсем старая старушка. Еще в прошлом году ее хотели отправить на пенсию. Таисия Андреевна расплакалась на педсовете. Ее пожалели и оставили.

Номер со Львом Толстым как-то очень легко сошел Леньке с рук. В класс к нам не пришли ни Зинаида Борисовна, ни Таисия Андреевна. Пришел к нам учитель физики. Это был его урок.

В чем же дело? Мы подумали-подумали и решили, что Зинаида Борисовна ничего не рассказала завучу.

Но на самом деле это оказалось не так. Ровно через сорок пять минут мы узнали, что Зинаида Борисовна заболела и ушла в больницу. Зинаиду Борисовну пытались отправить в карете «скорой помощи», но она отказалась. «В карете не поеду,— заявила она.— Лучше умру».

Мы всполошились. Это все-таки не шутка — отправить в больницу за одну неделю двух классных руководителей! К счастью, наша Зинаида Борисовна не умерла. Вечером возле клуба было гулянье, и Зинаида Борисовна танцевала там под гармошку краковяк.

Мы были гуманные люди и поняли, что Зинаида Борисовна в принципе не виновата.

На следующий день Зинаида Борисовна два раза заходила к нам в класс. Все сидели смирно и больше не хохотали, как дураки. Мальчишки вежливо улыбались Зинаиде Борисовне, а девочки задавали ей вопросы про здоровье и просили больше не болеть.



В конце уроков Зинаида Борисовна снова пришла в класс и стала проводить с нами пятиминутку.

— Здравствуйте, дети,—сказала Зинаида Борисовна.

Мы видели Зинаиду Борисовну уже два раза, но все равно встали и хором ответили:

— Здравствуйте, Зинаида Борисовна!

Ученики как солдаты: сколько раз встречают командира, столько с ним и здороваются. Хорошему солдату ничего не стоит поздороваться с командиром лишний раз.

Зинаида Борисовна положила на учительский столик свой конспект и сказала:

— Тема нашей пятиминутки — «Труд — основа гармонического воспитания человека».

Про гармоническое воспитание Зинаида Борисовна начала с обезьяны. Сначала она рассказала, как наш далекий предок встал на ноги, потом — как взял в свои лохматые руки палку, как убил первого зверя и начал поджаривать на костре.

Зинаида Борисовна изо всех сил расхваливала обезьяну и смотрела на нас строго и как будто бы недовольно. По всему было видно, обезьяна Зинаиде Борисовне очень нравилась, и она ставила ее в пример нам.

Все уже давно устали и хотели есть. Я перестал слушать и смотрел на Зинаиду Борисовну просто так. Когда я хотел, я умел выключить свою голову, как выключателем. Щелк — и голова уже ничего не слушает. Получается, как будто бы ты в классе и как будто бы тебя совсем уже нет.

Когда я снова включил голову, Зинаида Борисовна уже закончила про обезьяну и рассказывала, как гармонически воспитываться.

— Скоро у вас будет производственная практика,—сказала Зинаида Борисовна.— Советские школьники не имеют права бить баклуши и мечтать о легкой жизни. Вы должны научиться варить железо, добывать уголь и сеять полезные злаки.

Зинаида Борисовна посмотрела на всех нас и на каждого в отдельности, как будто бы проверяла, готовы мы или еще не готовы варить железо.

Мы смущенно опустили глаза. Честно говоря, задача была не совсем ясной. Угля и железа в нашем поселке не было, а полезные злаки не сеяли, потому что вокруг была сплошная тайга. Меня подмывало сказать про это Зинаиде Борисовне. Я чуть-чуть приподнял руку над головой и сразу же опустил. Я был трус и всегда завидовал Леньке Курину. Ленька на моем месте ни за что бы не струсил. Ленька Курин мог все.

Зинаида Борисовна сверлила нас глазами. От этого взгляда трудно было избавиться. Разве только поднять руку и выйти по своим делам. Но выйти по своим делам сразу весь класс не мог. Так в жизни не бывает.

Мы прожили на свете не особенно много, но уже прекрасно понимали, что самое главное еще впереди. Не станет же Зинаида Борисовна проводить пятиминутку из-за какой-то обезьяны!

Так оно и случилось. Зинаида Борисовна встала и твердо, как будто бы обрубилa какой-то толстый корявый сучок, сказала:

— Дети, мы вами недовольны!

Интересно, чем это она недовольна?

А Зинаида Борисовна рубила уже налево и направо. Оказалось, мы были и такие, и сякие, и вообще хуже самой последней первобытной обезьяны. Разоблачили мы себя после сочинения на тему «Кем ты хочешь быть?». Получалось, что мы по-барски смотрели на труд и пытались захватить в жизни самые теплые местечки. Вместо людей с мозолистой рукой из наших тетрадок нагло выглядывала какая-то шушера-мушера и шантрапа.

Картина была убийственная. Мы смотрели на Зинаиду Борисовну и видели, как она тяжело переживала наше падение. Лицо у нее вытянулось, сделалось кислым и серым.

Но Зинаида Борисовна все же взяла себя в руки и продолжала вести пятиминутку, как ведет корабль во время шторма мужественный капитан.

— Дети,— сказала Зинаида Борисовна,— мы надеемся, что вы сделаете выводы и станете на правильный путь.

Мне все сильнее хотелось есть. Если бы мне дали какой-нибудь пирожок или краюшку хлеба, я бы немедленно сделал выводы и стал на правильный путь. Хоть черствую корочку! Зинаида Борисовна как будто бы прочла мои мысли. Она строго и с сожалением посмотрела в мою сторону и сказала:

— То, что можно сделать сегодня, не откладывайте на завтра. Сидите и делайте выводы сейчас. Даю вам пять минут.

Не знаю почему, но выводов мы не сделали.

И это совсем не потому, что мы окончательно испорченные и не любим свою родину. Ничего подобного. Если нам скажут, мы будем хоть завтра сражаться с врагами нашей страны, будем варить сталь, добывать уголь и сеять полезные злаки. Мы — это мы!

Возможно, мы не сделали выводов потому, что разозлились на Зинаиду Борисовну за обезьяну, и потому, что были голодные.

Прошло пять минут, и Зинаида Борисовна начала спрашивать всех по очереди, что мы надумали и кем мы хотим на самом деле быть.

Ребята все, как один, твердо стояли на своем. Мне кажется, кое-кто даже нарочно выдумывал всякие глупости. В классе в два счета появилось пять оперных певцов, два повара, клоун, милиционер и инструктор служебного собаководства.

Но Зинаида Борисовна, очевидно, еще не теряла надежды.

— Ну, девочка, а кем хочешь быть ты? — спросила Зинаида Борисовна Иру-маленькую.

Ира маленькая встала и сразу же покраснела до самых бровей. Мы все знали, кем хотела быть Ира-маленькая. На сборах она надевала белую кисейную юбочку, туфельки балерины с твердым носком и танцевала танец умирающего лебедя. Нет, даже не танцевала, а плыла по нашей маленькой пыльной сцене, парила над нею, как гордый тоскующий лебедь.

Ира-маленькая еще раз залилась краской и тихо, так что было слышно только в первых рядах, ответила Зинаиде Борисовне:

— Я буду балериной...

Мы были объективные люди. Мы сомневались в честности наших клоунов и оперных певцов, но Ире-маленькой мы верили.

Не понравился ответ Иры-маленькой только Зинаиде Борисовне. Она скривилась, как будто бы проглотила гнилой опенок, и махнула на Иру рукой.

Ира-маленькая села на свое место, закрыла лицо руками и заплакала. Зинаида Борисовна не обратила никакого внимания на Иру.

— Послушаем, что скажет Леня Курин,— сказала она и посмотрела на свои часики, как будто бы Ленька собирался делать целый доклад.

Когда Зинаида Борисовна задавала нам вопросы, она говорила: «Скажи, мальчик» или «Скажи, девочка». А тут — на тебе — «Леня Курин»!

— Чего же ты молчишь? — ласково и с какой-то опаской спросила Зинаида Борисовна. — Говори, кем ты хочешь быть?

Класс притих: «Давай, Ленька, чего стоишь!»

Чувствовал Ленька, что от него чего-то ждут, или не чувствовал — не знаю. Леньку никогда не разгадаешь. Он был у нас как задача, которая не сходится с ответом. Вроде правильно решил, а вроде и неправильно.

Задача, которая не сходится с ответом, то есть Ленька Курин, вытянул руки по швам, подумал несколько

секунд и вдруг четко, как отвечают хорошо заученный урок, сказал:

— Я буду королем джаза!

Зинаида Борисовна даже пошатнулась от такого ответа.

— Каким королем? — прошептала она.

Ленька вытянулся еще больше.

— Обыкновенным, — сказал он. — С барабаном!

Зинаида Борисовна как-то вся обмякла и вдруг начала опускаться вниз. Мы думали, что Зинаида Борисовна уже падает в обморок, но ошиблись. Зинаида Борисовна не упала, а только опустилась на стул. Так она и сидела — неподвижная и немая, как камень.

Со всех сторон на Зинаиду Борисовну смотрели оперные певцы, повара, клоуны, милиционеры и инструкторы служебного собаководства. В их глазах не было ни жалости, ни сочувствия.

## Глава третья

### УЗНИК

Мы — масштабные ребята. Так лично сказал директору школы наш учитель русского языка. Жаль, что учитель говорил только по телефону. О таких вещах, на мой взгляд, не стыдно заявить и с трибуны.

Про телефонный разговор я узнал случайно.

Все пошло от телефонистки Гали, которая живет у Иры-большой. Телефонистка Галя рассказала по секрету Ире-большой, а Ира-большая рассказала по секрету Ире-маленькой. От кого узнал я, объяснять не надо. Все и так знают, что я дружу с Ирой-маленькой.

Наш директор позвонил из Якутска в школу. Таисия Андреевна уже ушла домой, и с директором разговаривал учитель русского языка. Сначала учитель не хотел обижать нашу старую ИО. Он жался, мялся, а потом не вытерпел и бухнул директору сразу про все — про сове-

шания, про Льва Толстого и еще про то, что Таисия Андреевна забрала наши сочинения и заперла в сейф на два ключа.

— Может, в тетрадках ругательства? — недоверчиво спросил директор.

— Пока нет, — ответил учитель. — В общем, сочинения хорошие. Это прекрасные, масштабные ребята.

— Я знаю, что они масштабные, то есть с размахом, — сказал директор. — Они только делают вид, что им все нипочем. А так это абсолютно деловые и самостоятельные люди, — я за это ручаюсь. Скажите Таисии Андреевне, пускай немедленно прекратит свои совещания и отопрет тетрадки. Я не потерплю безобразий!

Возможно, директор говорил немного иначе. Этого я не знаю. Телефонистка Галя передала Ире-большой своими словами, а Ира-маленькая передала мне своими. Но все равно разговор такой был. Таисия Андреевна ходила с красными опухшими глазами и без конца шмыгала носом.

Таисия Андреевна, в сущности, была неплохим человеком. Мы вспомнили, как она купила одному мальчишке ботинки, а однажды ночью, когда бушевала в поселке метель, ходила к больной девочке и сидела там всю ночь. Пожалуй, мы будем защищать своего ИО. Пускай только не запирает больше на два ключа наши тетрадки.

Сочинения нам возвратили. Моя новенькая, только начатая тетрадка была помята и пахла нафталином. Таисия Андреевна хранила в сейфе шерстяную пряжу для носков.

Я открыл нафталинную тетрадку и сразу увидел пятерку. Она была какая-то необыкновенная — стремительная, порывистая, с огненным космическим хвостом на верхушке.

В эту минуту я полюбил себя. Что ни говорите, а космонавт — это космонавт!

Я увлекся своей пятеркой и совсем забыл, что мы

поссорились с Ленькой Куриным на всю жизнь. Ленька сидел рядом со мной и уныло смотрел в тетрадку. По лицу Леньки я понял, что у него тройка.

— Сколько у тебя? — спросил я на всякий случай Леньку.

Ленька закрыл тетрадку и показал мне три пальца — указательный, средний и безымянный. Ну конечно, за короля джаза больше никто и не даст!

Ленька разгадал мои мысли и стал оправдываться. Оказывается, про джаз он сказал нарочно и хотел быть совсем и не королем, а так же, как и я, — космонавтом. Только я написал, что полечу на Луну, а Ленька решил махнуть на Марс. Если бы я был учителем, я бы за одну идею поставил Леньке четверку.

И вообще на свете много странного. После уроков, когда мы уже выходили из класса, Леньку ни с того ни с сего вызвали в учительскую и дали записку родителям.

Если за каждую тройку будут вызывать отца или мать, лучше вообще бросить школу и жить, как древние обезьяны.

С Ленькой я помирился условно. Если Ленька еще раз устроит мне какую-нибудь пакость, тогда — крышка. Тогда я окончательно поссорюсь с ним на всю жизнь.

Мы шли домой вместе с Ленькой. Я успокаивал друга, но он слушал рассеянно и даже не смотрел на меня. У Леньки был очень сердитый отец, и Ленька боялся парки.

— Знаешь что? — сказал я Леньке, когда мы вышли на Малую Садовую. — Давай порвем записку?

Ленька оглянулся по сторонам. Должно быть, так поступают жулики, когда хотят что-нибудь стянуть. Но это была минутная слабость. Ленька стиснул записку в кулаке и, не оглядываясь, пошел навстречу своей судьбе.

На свете не бывает случайностей. Едва я успел пообедать, за окном раздался крик и вой. Это драли моего лучшего друга Леньку Курина.

Мое место было сейчас там, возле Леньки. Я в мгновение надел пальто, шапку и помчался к другу.

После порки Леньке не разрешали выходить к ребятам на улицу, запирали дверь перед всеми на свете. Но меня к Леньке пускали и днем и ночью. Я оказывал на Леньку благотворное влияние. Так утверждали Ленькин отец и Ленькина мать. Я садился с выдраным Ленькой к столу и готовил вместе с ним уроки. Учиться надо всегда — таков жестокий и неумолимый закон жизни.

Я разыскал Леньку на углу Большой и Малой Садовой.

— За что тебя лупили? — спросил я.

Ленька от меня никогда ничего не скрывал. Он частенько привирал, но с этим нужно было мириться, — такой был у моего друга характер.

Мы прошли с Ленькой один квартал, и я уже знал все подробности расправы. Оказывается, тройка была ни при чем. Отец вздул Леньку за Льва Толстого и короля джаза. Вдобавок ко всему Леньке не дали обеда и выгнали насовсем из дому.

— Куда же ты теперь? — спросил я Леньку.

Ленька развел руками. В самом деле, куда идти выдранному голодному человеку?

Мы пришли на берег Вилюя. Внизу чернела вода. Сталкиваясь и разбегаясь, неслись по течению последние льдины. Тут была граница туманных Ленькиных поисков и надежд. За рекой тянулась без конца и без края тайга, вязкие болота и черные гари.

— Знаешь что... — нетвердо сказал мне Ленька. — Давай удерем?

— Чудак. Куда мы удерем?

Ленька придавил зубами нижнюю губу, метнул взглядом куда-то ввысь. Нашу судьбу Ленька решал недолго. И вообще Ленька никогда не тянул волюнку. У него всегда было так: раз, два — и готово.



— Давай в Ташкент,— сказал Ленька.— Там на каждой улице плов варят и жарят шашлык. Во какие шашлычищи!

Я смотрел в глаза Леньке и видел в них и дымящийся плов, которого я никогда в жизни не ел, и огромные, на железных палках шашлыки, и цветные пиалы с терпким и душистым кок-чаем. В глазах Леньки было все — и сыпучие пески Голодной степи, и верблюды, и скорпионы, и летящие наперерез ветрам всадники в шелковых полосатых халатах...

За тайгой вспыхнуло искринкой и вновь ушло за тучу неяркое вечернее солнце. И Ленька и я как-то сразу поняли, что путешествие наше окончилось и пора приниматься за дела. Прежде всего надо было подумать о Леньке, накормить его и пристроить куда-то на первую ночь. Не пропадать же, в самом деле, человеку!

Может, к нам? В прошлом году у Леньки был с отцом конфликт и Ленька скрывался целый день у нас на чердаке. Там возле дымохода еще и сейчас лежали на всякий случай медвежья шкура и старое ватное одеяло.

Мы с Ленькой иногда абсолютно не понимали друг друга, а иногда понимали не только с полуслова, но и вообще без слов. Ленька посмотрел на меня, я — на Леньку, и все было решено: на чердак!

Мы жили на втором этаже. Из нашего подъезда, который почему-то называли клеткой, на чердак вела узенькая железная лестница. Лампочка в клетке давно перегорела, и там всегда было темно и пусто, как в колодце. Пробраться втихомолку на чердак мог не только один человек, но и целый взвод.

Прошло каких-нибудь полчаса, и мы были уже на новой Ленькиной квартире. На чердаке тихо, темно, пахло печной сажей, пылью и еще чем-то непонятным, наверно пауками.

Мы сели с Ленькой на медвежью шкуру и начали обсуждать его дальнейшую жизнь.



Отец выгнал Леньку насовсем, и поэтому жить ему на чердаке придется долго, возможно даже несколько лет. Учебу Ленька бросать не будет, потому что ученье — свет, а неученье — тьма. Я буду приносить Леньке учебники и объяснять уроки. Жаль только, общественную работу Леньке придется оставить. Ленька был у нас редактором и выпускал такие стенные газеты, что все животы надрывали. Теперь, конечно, это было исключено. Не мог же Ленька выпускать какую-то чердачную газету!

Времени у Леньки будет много, и он сможет закончить школу за два, а то и за полтора года. Ленька сам нарисовал мне эту приятную и возвышенную картину. Через полтора года в школе, на удивление всем, появится бледный худощавый человек с длинной курчавой бородой. Он пройдет прямо в кабинет директора и скажет:

— Я изучил все науки и прошу выдать мне документ. Будете экзаменовать или поверите так, на честное пионерское?

Все это будет очень здорово. Смущало меня только одно — откуда возьмется у Леньки длинная курчавая борода? Ленька выслушал мои возражения и небрежно сказал:

— Дурак, в темноте борода знаешь как растет!

Ленька, конечно, был прав, и я не стал с ним спорить.

Подробно изложив все свои планы, Ленька вместе со мной начал готовиться к долгой оседлой жизни. На чердаке нашелся ящик для письменного стола и несколько кирпичей для стула. Здесь Ленька будет готовить уроки и читать художественные книги. Я спустился еще раз вниз и принес Леньке из дому чистых тетрадок, чернильницу и краюху черного хлеба. Проводку электричества и все дальнейшие хозяйственные дела мы решили оставить на завтра.

Ленька увидел краюху и вцепился в нее зубами, как голодный волк. Я смотрел на своего мужественного, самоотверженного друга и завидовал ему. Везет же все-таки человеку!

#### Глава четвертая КОНФИГУРАЦИЯ ГОЛОВЫ

Тут я хочу немножко пропустить. Если описывать все подряд, получится столько, как у Пушкина или Льва Толстого, за которого выдрали моего лучшего друга Леньку Курина.

Расскажу очень кратко. Отец простил Леньку; он снова стал нормально ходить в школу и разговоров про длинную курчавую бороду больше не заводил.

Леньку и вообще весь наш трудный класс прорабатывали на пионерском сборе. Все выступали и давали слово. У меня ошибок и недостатков не было, но я тоже

встал и дал слово. Если перевоспитываться всем,— значит, всем.

Больше всего на сборе напирали на Леньку Курина. Леньку даже заставили нарисовать в стенгазете на самого себя карикатуру. Ленька выполнил поручение без звука, но цели это не достигло. Карикатура получилась непохожая и несмешная. Видимо, критиковать самого себя без вдохновения нельзя.

Пал Палыч все еще лежал в больнице. В ноге у Пал Палыча с войны сидел осколок, и ему сделали операцию. Мы с Ленькой ходили к Пал Палычу и подробно рассказывали ему про себя и про наш класс. Пал Палыч нас не ругал. Он очень внимательно выслушал нас и сказал:

— Вы люди умные и сами сделаете выводы.

Мы ушли от Пал Палыча очень довольные. Он всегда умел отличать самостоятельных людей от свистунов и шалопаев.

Зинаида Борисовна по-прежнему руководила нами. Мы узнали, что она тоже была ИО, то есть исполняющая обязанности. Когда Пал Палыча выпишут из больницы, он снова будет нашим классным руководителем. Мы научились ладить с Зинаидой Борисовной. Зинаида Борисовна уже называла нас не детьми, а ребятами. Это был прогресс.

Директор школы Григорий Антонович приехал из Якутска. Все экзамены он сдал хорошо, а русский вытянул только на тройку. Это потому, что Григорий Антонович все время думал про школу. С таким трудным классом, как наш, можно было вполне схватить двойку, а то и кол. Так говорили в школе все.

Учебный год подходил к концу, и наш директор разрывался на части. Григорий Антонович не знал, куда пристроить ребят на практику. Наш поселок стоял на самом краю света. Когда-то давно, еще при царе, жандармы привезли на оленьих упряжках ссыльных револю-

ционеров. Поселенцы срубили избушки на берегу Вилюя, выучились у якутов бить соболя, белку, медведя. Породнились с местными охотниками и стали жить одной семьей. Якуты выучились говорить, читать и писать по-русски. Теперь сразу и не поймешь, где тут русский, а где якут.

Не было к нашему поселку ни железных дорог, ни асфальта. Зимой таежные тропы переметали сугробы, а летом раскисали вокруг вязкие ржавые болота. Выручали нас только самолеты. И продукты от них, и почта, и все остальное. В тайге уже прокладывали сквозь горы и болота широкую удобную дорогу. По ночам в лесной чаще глухо гремели взрывы, и осколки камней долетали порой до самого поселка.

Скоро и у нас все будет по-иному. Построят фабрики, заводы, а может быть, и такое, что другим и во сне не снилось. До прошлого года у нас было село, а потом вдруг сказали, что мы вовсе и не село, а ПГТ — то есть поселок городского типа. Но городского нам пока ничего не прибавили. Только улицы стали называть по-другому. Раньше у нас была Большая улица и Малая, а теперь стала Большая Садовая и Малая Садовая.

На весь ПГТ было только одно предприятие — промкомбинат. Называли его «пром» только для виду. Промышленностью там даже и не пахло. На промкомбинате делали вешалки из оленьих рогов, резали из кости человечков на собачьих упряжках и березовые туески.

Не знаю, как остальные классы, а наш класс в промкомбинат принимать не хотели. Туда брали только с художественным вкусом. В нашем классе вкус был только у Леньки Курина, да и то с каким-то сатирическим оттенком.

Директор школы по целым дням звонил кому-то по телефону, доказывал, убеждал. Но все напрасно. Гармоническое воспитание, о котором нам говорила на пятиминутке Зинаида Борисовна, расплзлось на глазах.

Все ребята нервничали и переживали. Слухи по шко-

ле ходили один лучше другого. За какую-нибудь неделю мы были и дворниками, и заготовителями грибов, и ловцами бродячих собак.

А еще говорили, будто директор школы и наш Пал Палыч хотят отправить нас в тайгу на строительство какого-то нового рабочего поселка. У этой идеи сразу нашлись защитники и противники. Отец Манича, например, заявил, что он ни за что не отпустит своего сына из ПГТ.

— Тоже умники нашлись! — говорил он. — Пускай сами едут...

Отец Леньки и мой были «за». Ленькин отец заходил к нам по какому-то делу и прямо при всех сказал:

— Пускай едут! Может, там из этих дураков людей сделают!

Моя мама промолчала. По-видимому, она имела какое-то другое мнение, но не хотела вмешиваться в разговор и подрывать при мне авторитет мужчин.

В ПГТ считали, что с отъездом в тайгу уже всё на мази, и тут вдруг из Якутска пришла в школу бумага. Директору школы запретили проводить нашу практику в тайге и предложили «изыскать резервы на месте».

Все снова пошло, как в сказке про белого бычка. Одни говорили, что мы будем рубить дрова для бани, другие — будто заготавливать для Якутска грибы, а третьи нажимали на собак.

Слухи как пожар — они быстро возникают и так же быстро гаснут. Как-то после обеда разыскал меня на улице Ленька Курин и сказал:

— Колька, кричи «ура», мы уже не собачники!

— А кто же мы такие? — спросил я.

Ленька поднес к своей голове средний и указательный пальцы и пощелкал в воздухе, будто ножницами.

— Чики-чики-чики. Теперь дошло?

В голове у меня мелькнула страшная мысль, но я сразу же отбросил ее:

— Ничего не понимаю!

— Кретин! — сказал Ленька. — Мы будем парикмахерами. Уже все решено.

В моей душе что-то оборвалось и покатилося вниз.

— И ты радуешься!

— А что! — беспечно сказал Ленька. — Я буду дамским парикмахером. Так завью твою Ирку-маленькую, что закачаешься!

Я едва сдержал себя.

— Во-первых, Ира-маленькая не моя, — сказал я. — А во-вторых, я с парикмахерами дела не имею! Понятно?

— Ха-ха, не твоя! А розочки кто дарил? «Любимой Ирочке от ее кавалера Коли Квасницкого»!

— Бессовестный! — прохрипел я. — Ты ж сам написал! Забыл, да?

В ответ Ленька сделал мне рожу и показал язык. В душе у меня все клокотало. Раньше я был гуманным человеком. Я простил Леньке его коварство и условно помирился с ним. Теперь чаша терпения переполнилась. Я больше не могу. Я навсегда вычеркиваю Леньку из своей жизни.

Я повернулся и пошел прочь по Малой Садовой. Справа и слева тянулись низенькие бревенчатые дома, палисадники, двери, обитые от холода собачьими шкурами, узенькие окна; у дверей легкие, стремительные нарты. В зимние праздники в ПГТ проводили состязания на оленьих упряжках. В этом году отец обещал выпустить в круг и меня. К состязанию все уже было готово — и торбаса из нерпы, и кухлянка, и длинный юркий хорей.

Много раз я мечтал, как помчусь на своих нартах по широкому, измятому оленьими копытами кругу, как обгону на пути Леньку Курина и первым приду к финишу. Теперь все это было исключено. Ленька сам отрезал себе путь к дружбе. Я не желаю соревноваться с ним, не хочу даже смотреть на него.

Я подбадривал себя, говорил, что теперь мне плевать на Леньку. Но на самом деле это было не так. Мне

было тошно и горько без Леньки. Ленька жил где-то внутри меня. Я не мог без него ни есть, ни пить, ни дышать. Но жизнь есть жизнь. Человек должен быть готовым к любым, даже самым страшным ударам.

В школе все уже знали про парикмахеров. Нам не давали проходу. Только выйдешь из класса, уже кричат:

— Бобрик!

— Полубокс!

— Падеспань!

Мы гордо несли свои головы и не обращали на невежд никакого внимания. Они даже не знали, что падеспань не стрижка, а танец.

После ссоры со мной Ленька подружился с Маничем. Это было очень странно. Манич не имел никаких моральных принципов. Когда его спрашивали, хочет он быть парикмахером или не хочет, Манич отвечал: «Кем мне скажут, тем я и буду».

И все же я немного сомневался — зачем нашему поселку столько парикмахеров? За один день тридцать парикмахеров могут побрить и постричь весь наш ПГТ. Если же мы постараемся и будем перевыполнять нормы, будет еще хуже. Каждый день придется брить и стричь по три раза всех наших мужчин, женщин и детей. С этим, я думаю, в ПГТ никто не согласится.

Мы решили поговорить по душам с нашей классной ИО. После уроков мы подошли в коридоре к Зинаиде Борисовне и спросили:

— Правда, что мы будем парикмахерами?

Зинаида Борисовна очень смутилась и снова назвала нас как первоклассников.

— Дети,— сказала она,— еще ничего не решено. Мы вам объявим...

После неудачного разговора с ИО я решил взять инициативу в свои руки и лично сходить в нашу дамскую и мужскую парикмахерскую.

Парикмахерскую я посещал редко. Дома у нас была



своя машинка. Когда мама приезжала из тайги, она сама стригла меня. Мама у меня была мастер на все руки.

Я не пожалел десяти копеек и, не откладывая дела в долгий ящик, пошел на разведку. Парикмахерская была в самом конце Малой Садбвой, возле промкомбината. В одной и той же крохотной комнате помещался мужской и дамский салоны. Тут было загадочное, непостижимое для простого ума царство ножниц, щипцов для завивок, пудры, замусоленных баночек с кремами и ядовитых, как серная кислота, одеколонов.

Когда я пришел, хозяин этой лаборатории Арон Маркович брил приезжего охотника-якута, и мне пришлось подождать. Арон Маркович не торопился. Клиенты от него не убегали. Вокруг на тысячи километров другой парикмахерской не было.

Наконец я вошел в салон и, немного робея, сел в кресло. Я боялся всего острого и блестящего, особенно шприцев и щипцов, которыми дергают зубы. Когда в классе мальчишкам делали уколы, я закрывал глаза.

Арон Маркович взял в руки ножницы, пощелкал, как Ленька Курин, над головой и начал стричь. Арон Маркович никогда не спрашивал школьников, как их постричь. Если приходил первоклассник, Арон Маркович стриг под «нуль», то есть наголо; если мальчишка был из третьего класса,— оставлял ему маленький чубчик. Семиклассников и всех остальных Арон Маркович стриг под «полечку». По своей собственной воле, без всяких указаний и нажимов, Арон Маркович прививал нам эстетические взгляды и любовь к прекрасному.

Арон Маркович стриг меня и без конца рассказывал разные разности. В парикмахерскую приходило много клиентов. Арон Маркович наматывал все, что слышал от людей, на ус и был поэтому всесторонне образован и имел собственные суждения по всем областям науки и знаний.

Арон Маркович отхватил ножницами длинный клочок волос, придирчиво осмотрел свою работу и сказал:

— Так-с, кем же ты хочешь быть, молодой человек?

У меня остро и томительно заняло в душе. Я знал, что вопрос был задан не случайно. Но я сдержал себя и, как только можно спокойнее, ответил:

— Еще ничего не решено, нам объявят...

Арон Маркович, по-видимому, ждал более четкого и определенного ответа. Он снова пощелкал ножницами над моей головой и сказал:

— Арон Маркович стриг и брил много людей. Я знаю, сколько я стриг! Три миллиона, пять миллионов! И я тебе, мальчик, скажу: парикмахер — это вещь. Ты понимаешь, что я говорю?

Выслушав мой утвердительный и не совсем честный ответ, Арон Маркович продолжал с еще большим жаром:

— У каждого человека своя конфигурация головы. У одного — круглая, как шар, у другого — редькой, у третьего, извиняюсь за выражение, — как дыня. Человеку неприятно с такой дыней появляться на службе и в театре. Он приходит в парикмахерскую, садится в кресло и говорит: «Арон, сделай мне красоту».

Арон Маркович повертел мою голову, как глобус, осмотрел со всех сторон и сказал:

— Арон Маркович пятьдесят лет делает людям красоту. Но у него старые руки, и он скоро пойдет на пенсию. Ты меня понимаешь?

Я сидел и не дышал. Теперь для меня было ясно все — от парикмахерства нам не отвертеться!

Арон Маркович по-своему понял мое молчание. Он ласково посмотрел на меня сверху вниз и сказал:

— Если тебе скажут: «Выбирай хорошую профессию», — иди ко мне. Я сделаю из тебя парикмахера. Лучше, чем в Москве.

Мой будущий шеф и учитель смел щеточкой с шеи и ушей волосы, взял в руки небольшое зеркало и поднес к моему затылку. Я смотрел в зеркало и ничего не видел. Перед глазами стоял непроглядный туман...

Через два дня Пал Палыч возвратился из больницы. В классе все сразу пошло по-иному. Слухи и разговорчики стихли, будто их никогда и не было. Пал Палыч и директор о чем-то подолгу разговаривали в кабинете.

Нам было абсолютно ясно — в нашей жизни наступают какие-то важные и решительные перемены.

Мы не ошиблись.

Скоро родителей седьмых классов срочно вызвали в школу на собрание. Между прочим, у нас два седьмых класса — наш и седьмой «Б». С седьмым «Б» мы не дружили. Там были сплошные задаваки и эгоисты.

Мой отец уехал на все лето в тайгу, и в школу отправилась только мама. Никаких предварительных разговоров дома у нас не было. По-видимому, мама понимала, что я абсолютно ни при чем и в школу вызывают по каким-то совсем другим делам.

Мама пришла в половине одиннадцатого. Она сняла шерстяную кофточку, капроновый шарфик, который надевала только по праздникам, и отправилась на кухню. Я постоял немножко посреди комнаты и пошел за ней.

Задумчиво и тихо звенела в руках мамы посуда. Мама накрывала на стол и старалась не смотреть на меня. Так бывает всегда, когда хочешь сказать что-то важное и в то же время не совсем ясное и понятное для самого себя.

В конце концов я не выдержал и спросил маму:

— Что у вас там было, на родительском собрании?

Мама намазала маслом кусочек хлеба и положила возле моей чашки.

— Ничего особенного, — сказала она. — Послезавтра поедете в тайгу на производственную практику. Я думаю, проходить практику в парикмахерской — не совсем то, что надо. Как по-твоему?

По-моему было точно так, как и по-маминому,— раз практика, значит, практика.

Мы сидели с мамой за столом целый час и обсуждали предстоящую поездку. Километров за сто отсюда, на берегу Вилюя, строили какой-то большой поселок. Мы не знали, кто будет жить в новых домах — искатели подземных железных кладовых, золотых россыпей, меди, цинка или чистых, как бусинки росы, алмазов. У нас в Якутии есть почти все элементы периодической системы Менделеева. Если бы какой-нибудь волшебник открыл сразу все недра якутской земли, люди вскрикнули бы от удивления и радости.

Лег я поздно и всю ночь видел коротенькие и какие-то суматошные сны. Мои сны — будто перепутанные в коробке стеклянные диапозитивы для проекционного фонаря. То появится на экране древний город Помпея, который погиб при извержении Везувия, то переносчик дизентерии — муха, то просторная, как лапоть, печенка и тощая поджелудочная железа...

В эту ночь я сидел с бледным, обросшим бородой Ленькой Куриным на нашем чердаке, делал железными щипцами шикарную завивку Ире-маленькой, строил дома в новом незнакомом поселке на берегу Вилюя и кормил пончиками дурака Манича...

Звонок будильника прервал короткометражные сны и вновь вернул меня в мир действительности.

Весь день мы с мамой убили на подготовку к отъезду. Работы, как и при всяком отъезде, было по горло — что-то искать, стирать, чинить, чистить, гладить... Начнешь одно — забудешь про другое, вспомнишь другое — забудешь про первое.

Когда наконец все было готово и лежало чистенькое и сверкающее на стуле, мы начали укладывать рюкзак. Сначала мы положили мягкий инвентарь, потом затолкали в специальный отсек зубную щетку, мыльницу, пачку конвертов и бумагу. Остаток верхнего этажа заняли про-

дукты. Укладывали мы по записочке, которую мама принесла из школы,— триста граммов пшена, сто пятьдесят граммов сала, щепотку соли, стакан сахара, буханку хлеба и десять сырых картошек. И это на целых два дня!

Пролетела еще одна ночь, и я снова сижу у кухонного стола и ем последний домашний завтрак. Мама совсем не ложилась спать. Лицо у нее бледное, усталое; возле виска, будто тоненький стремительный проводок, синее коротенькая жилочка. Мама без конца роняет то нож, то вилку и вытирает украдкой грустные покрасневшие глаза.

На столе сегодня царская еда — жареная оленина, оладьи и чай с тягучим липовым медом. Он пахнет теплыми летними лугами, тихой, заросшей камышом речкой и незнакомыми цветами. Есть не хотелось. Во-первых, я очень рано встал, а во-вторых, мне жалко и страшно расставаться с домом и моей мамой. Мне кажется, в дороге со мной что-нибудь случится и я уже никогда больше не буду сидеть вот так на нашей кухне, слушать, как звенит и пляшет на закипающем чайнике алюминиевая крышка с мокрой темной веревочкой.

Я трус и, возможно, останусь им на всю жизнь. Бывают же на свете существа с врожденными пороками. Им уж ничего на свете не поможет: ни ласка, ни подзатыльники, ни скальпель хирурга...

Мама не пошла почему-то провожать меня и даже не поцеловала, как прежде, в щеку. Она только пожала руку и сказала:

— Ну беги, а то опоздаешь!

Мне кажется, отец и мама не знали, что я трус. По крайней мере, разговора об этом в доме никогда не было. Я умею скрывать свои чувства и стараюсь, хотя это порой и очень трудно, казаться героем. Но шила в мешке не утаишь. Рано или поздно все узнают, какой я есть на самом деле. И тогда уже меня не спасут ни хитрости, ни сочинение про космонавта, за



которое учитель поставил мне такую замечательную пятерку.

Я плелся в полном одиночестве к школе. На Большой Садовой по-прежнему было темно. Только кое-где, не рассеивая, а еще более сгущая и подчеркивая мрак раннего утра, тлели желтые электрические лампочки. По улице, опустив рогатую голову, брел неизвестно куда олень. Колокольчик из ружейной гильзы уныло звенел и замирал в темноте.

К месту сбора я пришел позднее всех. У школьных ворот работали на малых оборотах машины: одна — наша, другая — седьмого «Б». Рядом, опираясь на толстую палку, стоял Пал Палыч.

— Давай быстрее,— сказал он и помог мне перелезть через борт.

В кузове сидели один возле другого на белых неструганных досках наши мальчишки и девчонки. У бортов лежали рюкзаки, сумки, чемоданы и какое-то старое ватное тряпье. На скамейке возле Ленки Курина было свободное местечко. Но я даже и не подумал садиться рядом. Очень он мне нужен! Я раздвинул чьи-то рюкзаки, телогрейки и сел, как бедный родственник, на дно кузова возле заднего борта.

Загудели моторы, и машины, которые нам дали в промкомбинате, запрыгали по улицам ПГТ. Провожающих не было. Видимо, родителей предупредили. Поселок спал. Притихшие и немного подавленные всем, что произошло, мы мчались на грузовиках навстречу своей далекой, таинственной судьбе.

И вдруг в темноте послышался отчаянный крик:

— Та подождите ж меня! Та что ж вы делаете? Подождите!

По улице наперерез машине бежала с каким-то мешком за плечами мать нашего Манича. Шофер услышал вопли и нажал на тормоза. Мать Манича подбежала к машине и с ходу бросила мешок за борт кузова. Мешок был до половины набит чем-то круглым, хрустящим и еще совсем теплым, видимо недавно извлеченным из печки. Мать Манича пошептала с сыном и махнула ему рукой:

— Ты ж смотри, что я тебе сказала. Ты ж смотри!

После минутной заминки мы снова тронулись в путь. Мы немного развеселились, но потом снова повесили носы и стали думать каждый о своем. Мешок Манича подогревал мне левый бок. Из этого склада обольстительно пахло сдобными коржиками, которые поедал на переменах в несметном количестве наш Манич.

Я почти не завтракал и теперь страшно хотел есть. Было темно, и мне ничего не стоило распустить тесемки

на мешке и по достоинству оценить кулинарное искусство матери Манича. Я сдержал себя и до самого приезда, когда нам разрешили наконец готовить обед, глотал пресную голодную слюну.

## Глава шестая

### МИСТЕР МАНИЧ

Я не люблю рассказывать скучные вещи и зря болтать языком. Кому это нужно, как мы ехали, как нас швыряло в кузове с одного борта на другой, как застревали в ржавых прокисших болотах? Если бы не одна история, которая случилась со мной в пути, я бы вообще не сказал про нашу поездку ни слова.

На дне кузова ехал я недолго. Манич растолкал ребят и пригласил меня к себе на краешек скамейки. Манич оказался предупредительным и вежливым человеком. Он по-братски обнял меня и придерживал за плечи, когда машину бросало на ухабах и приречных камнях.

Во время одного из таких трогательных объятий Манич навалился на меня всем телом и шепнул:

— Коля, давай с тобой дружить?

Я согласился. В конце концов Манич тоже человек...

Часа в три машины свернули на поляну и остановились.

— Дальше сегодня не поедем,— сказал Пал Палыч.— Варите суп, а вечером проведем возле костра пионерский сбор.

Мы начали развязывать свои рюкзаки и сумки. У всех было одно и то же — пшено, картошка и свиное сало. Теперь мы — одна семья. Что ест один, то и другой.

— Кто не умеет варить суп, подымите руку,— сказал Пал Палыч.

Я приподнял чуть-чуть руку, но потом посмотрел на Леньку и сделал вид, будто у меня зачесалась бровь. Почему я должен подымать, если Ленька не подымает!



Ленька даже картошку не умел жарить. У меня получалась тоненькая, хрустящая, а у Леньки — сплошная размазня.

Те, у кого были вместительные котелки, начали подыскивать себе партнеров, а те, у кого маленькие, — варить в одиночку. У меня котелок был большой, и я предложил своему новому другу Маничу варить суп на пару.

Манич отказался.

— Я питаюсь по-европейски, — сказал он.

Я думал, Манич просто-напросто заливает, но оказалось, говорил он правду. У Манича была разработана стройная и продуманная система питания. Утром Манич вводил в себя большое количество продуктов, обеспечивал на целый день свой организм белками, жирами, углеводами, клетчаткой и витаминами. В обед Манич слегка перекусывал, а на ночь снова наедался, как верблюд.

— Ночью организм должен хорошо питаться, — разъяснил Манич. — Учти, зуб мудрости отрастает только ночью.

Мне сильно хотелось есть. Я отклонил европейскую систему Манича и начал разводить костер. С супом у меня получилась небольшая осечка. Когда вода в котелке закипела, я стал размышлять, что положить сначала — пшено или картошку? По логике вещей получалось, что варить первыми надо твердые и сухие вещества. Так я и поступил. Когда пшено забулькало, начало пузыриться и стрелять быстрыми горячими струйками, я бросил в котелок картошку. Но странное дело, картошка не разваривалась и лежала в пшенной гуще, будто в панцире. Пришлось есть так, как было.

Я опустошил котелок и выкатил ложкой в костер сырые картофелины. Манич участия в трапезе не принимал. Он сидел возле своего мешка и нажимал на коржики. Видимо, зуб мудрости Манича развивался слабо и требовал дополнительного питания.

После обеда Пал Палыч начал собирать на репети-

цию участников художественной самодеятельности. Замной и Маничем никаких талантов не водилось, и поэтому мы решили прогуляться по берегу Вилюя и попутно заглянуть в юрту оленьего пастуха, которая виднелась на опушке тайги. Оленьи пастухи были заядлыми охотниками. Можно посмотреть и пощупать там мягкие и легкие, как пух, шкурки соболя, песца, белки, а если повезет, то и выпросить засушенную лапу лисицы с острыми длинными когтями.

Не буду полностью описывать, как мы шли, что делали и видели в маленькой глинобитной юрте пастуха.

Представьте себе такую картину. В юрту входит черноволосый скуластый мальчишка с голубыми серьезными глазами. На мальчишке синий комбинезон, на ремешке болтается алюминиевая фляга в сером войлочном чехле. Проходит полчаса, и мальчишка снова появляется на пороге. На его ремешке уже нет алюминиевой фляги. В потной ладони крепко зажат крохотный красный камешек на суровой нитке.

Не думайте, что тут произошел неравный обмен и хитрый пастух обманул неразумного мальчишку. Нет, все произошло чин по чину, и в обиде не остался ни пастух, ни мальчишка в синем комбинезоне.

Произошло это так.

Я с Маничем вошел в юрту и увидел возле окошка худого морщинистого пастуха. Он сидел на круглой табуретке и ковырял иглой рыжую собачью кухлянку.

— Капсе, дагор! — сказал я.

Пастух положил на пол кухлянку и ответил:

— Эн капсе!

«Капсе, дагор» — якутское приветствие, и означает оно «рассказывай, друг». Якуты здороваются так не случайно. Они редко встречаются в тайге и поэтому сразу же хотят узнать, кто ты такой и какие есть на свете новости.

«Капсе, дагор!» — скажет один якут.

Второй якут прищурит черные узенькие глаза и ответит: «Эн капсе!»

Это означает: «У тебя больше новостей. Не валяй дурака и рассказывай сам».

Я вкратце рассказал оленьему пастуху про нашу школу, про то, кто мы такие, куда и зачем едем. Олений пастух похвалил нас, сказал, что мы — деловые, самостоятельные люди, и попросил рассказать что-нибудь еще.

Я рассказывал пастуху разные разности из внутренней и внешней жизни и все время поглядывал на красивый камешек, который висел на его шее на прочной суровой нитке. Я заинтересовался камешком совсем не потому, что люблю всякие безделушки. Очень они мне нужны!

Я был сыном геолога и мог без ошибки найти в куче камней и осколок желтого халцедона, и оранжево-красного сердолика, и белоснежного, почти прозрачного доломита, и золотистого топаза, и крепкого, как сталь, серого диабазы.

У нас дома была небольшая геологическая коллекция. В деревянном ящичке лежали в квадратных гнездах камни, которые разыскивали в своих походах отец и мать. В самом центре ящичка, обложенный ватой, поблескивал, будто капелька загустевшей крови, огненно-красный пироп. Камень этот особенной цены не имел. Принеси такой пироп ювелиру, он сразу замашет рукой: «Не видал я твоих пиропов. Тащи назад!»

Геологи ценили пироп не за яркий цвет и красоту граней, а за то, что был он спутником алмазов. Там, где есть пироп, — там и алмазы, где алмазы — там и наш знаменитый спутник пироп.

Весной, грохоча и спотыкаясь на камнях, бегут с гор мутные потоки. Ручьи вымывают из гор крохотные кристаллики алмазов и несут их вместе с пиропами в реку. Геологу трудно разыскать на дне реки алмазную песчинку. Можно сто лет ходить по одному и тому же месту, да так и вернуться ни с чем.

Тут и приходит на помощь геологу пироп. Увидел один камень, второй, третий и смело иди вверх по этой красной дорожке. Рано или поздно пиропы приведут тебя к цели и покажут алмазные кладовые. Геологи выслеживают коренные месторождения алмазов по красным камешкам, как охотники выслеживают зверя по следам.

Олений пастух заметил, что я поглядываю на пироп. Он снял камешек с шеи и подал мне:

— Однако, возьми, если тебе нравится.

Я взял пироп и тут же отстегнул с ремня алюминиевую, обшитую войлоком флягу.

У нас в Якутии такой обычай: если ты долго смотришь на вещь и она пришлась тебе по сердцу, можешь считать, что она твоя. Но есть и другое неписаное правило: подарок требует ответного приношения. Дарить при этом надо более дорогую и солидную вещь, чем получил сам. Получил иголку — снимай кухлянку, взял седло — отдавай лошадь. Якуты любят ходить друг к другу в гости. Они чинно сидят возле камелька, пьют чай, но по сторонам зря не смотрят и чужих вещей не хвалят.

Манич жил у нас в ПГТ пять лет, но обычаев этих до сих пор не знал.

— Здорово ты его надул, — сказал Манич, когда мы вышли из юрты.

— Почему надул? — удивился я.

Манич завистливо посмотрел на мой кулак, в котором был зажат пироп, и хихикнул:

— Как будто я не знаю, что это драгоценный камень!

С дураками можно говорить только по-дурацки. Я не стал лезть на рожон и сказал Маничу, что выменял у пастуха самый настоящий алмаз. Красных алмазов в природе не бывает, но в данном случае это не имело никакого значения. Если Манич думает, что у меня алмаз, пускай думает.

Манич не сводил глаз с моего кулака.

— Ты его кому-нибудь продашь? — хриплым шепотом спросил он.

— Ага...

— А потом что?

— Ничего... Куплю что-нибудь или построю.

У меня никогда не было таких огромных денег, как сейчас. Я подумал несколько минут и начал вслух строить в нашем ПГТ двухэтажную каменную школу, телевизионную вышку, плавательный бассейн, цирк и кафе-мороженое «Север». После этих расходов у меня все равно остался целый карман денег. Я посмотрел на Манича и в довершение ко всему построил в ПГТ больницу для кретинов.

Манич не понял моего намека.

— Зачем же больницу? — задыхаясь, спросил он. — Пускай сами строят.

Манич полностью разоблачил себя. Передо мной был типичный индивидуалист, родимое пятно прошлого.

— А ты как бы потратил деньги? — спросил я Манича.

Глаза Манича зажглись, как фары. Не нужно много фантазии, чтобы узнать, где витали его мысли. Манич плыл сейчас на личной яхте по океану. Он сидел на палубе возле стола и курил толстую сигару. К столу один за другим подходили чернокожие рабы с бутылочками кока-колы на подносе, сэндвичами, живыми устрицами и мороженым-пломбиром с изюмом в середине. Они ставили подносы перед Маничем и кланялись этому дураку в пояс:

«Кушайте, мистер Манч!»

Я ненавидел капиталистов и эксплуататоров. Если бы мне разрешили, я бы утопил всех до одного в Вилюе.

— Ну, как ты потратишь деньги? — зловеще спросил я Манича. — Чего молчишь?

Фары Манича вспыхнули последний раз и погасли.

— Отстань от меня! — сказал Манич.

— Нет, ты говори! Раз ты так думаешь, так ты говори!

Манич уперся и решительно не желал отвечать на мой вопрос. Собственно, что тут спрашивать, когда и так все ясно и понятно.

В этот день жизнь еще раз столкнула меня с Маничем. Но теперь уже на деловой почве. Едва мы пришли с Маничем к привалу, Пал Палыч впряг нас в работу — заставил собирать сучья для вечернего костра. Мы увлеклись этим делом и на время забыли о красном алмазе, кока-коле, сэндвичах, устрицах и прочей капиталистической чепухе.

Костры бывают разные. Если вздумал заночевать в зимней тайге, надо разводить большое, жаркое пламя. На поляне крест-накрест укладывают толстые сухие стволы и поджигают снизу легкими сухими ветками. Позади костра не мешает насыпать высокий отвесный сугроб. Он защитит от холодного ветра и, будто рефлектор, будет посылать прямо на тебя благодатное, томибельно разламывающее каждую косточку тепло.

А еще костры разводят от волков, от вредной кусучей мошкары и просто так — костер для костра. Собираешь летним вечером кучку хвороста, чиркнешь спичкой и глядишь, как плывет меж стволов и тает на глазах синяя задумчивая ниточка дыма. И кажется тогда, нет ничего на свете краше этого костра, тонконогих, набежавших из чащи березок и тихой, вспыхнувшей в недоступной вышине неба звезды.

Но особое дело — пионерский костер. Складывают его из высоких прямых стволов, будто чум эвенка. Разожгут внизу сушняк, и пламя тут же с треском и гулом ринется к вершине, озарит и поляну, и реку, и плывущую вдалеке лодку, и все-все на свете.

Именно такой костер разожгли мы на берегу Вилюя вместе с седьмым «Б».

Для начала Пал Палыч провел с нами коротенькую

беседу про нашу будущую жизнь в поселке строителей; потом мальчишки и девочки рассказывали стихи и басни; потом Ира-маленькая танцевала польку с поворотом. Закончилось все старинной пионерской песней про картошку. Седьмой «Б» вел себя на этот раз прилично, только во время песни старался перекричать нас и вырваться со своими козлиными голосами вперед.

Тут же, на поляне, мы улеглись спать. Если б кто-нибудь пришел к нам ночью из школы и глянул на сонный лагерь, ни за что не разобрал бы, где мы, где седьмой «Б» и вообще кто где. Но это, конечно, не было началом дружбы. Хитроумный седьмой «Б» еще не раз устраивал нам неприятности. Но зачем торопиться? Оставим пока седьмой «Б» в покое. Пускай спят...

## Глава седьмая

### БЕДА ЗА БЕДОЙ

Я прекрасно помню, как это было. После костра мы с Маничем легли спать на мягких сосновых ветках. Манич все время ворочался и мешал своими глупыми вопросами, сплю я или не сплю. Я лягнул Манича нижней конечностью, и он моментально успокоился.

Я уже говорил, что сплю как убитый и, если меня не разбудить, могу проспять до самого вечера. Но на этот раз я проснулся сам, без будильника и толчков. Видимо, я проснулся от холода. Телогрейка, которой я накрывался ночью, сползла с меня и теперь лежала возле самых ног. На поляне было полное сонное царство. Забыв на время о доме и обо всем, что еще связывало нас с прежней жизнью, каждый храпел и высвистывал как умел.

Костер догорал. Низовой ветерок кружил по поляне серые лепестки пепла. Спать со второго захода я не умел. Я зевнул во весь рот, причесал пятерней свои жесткие прямые волосы и сразу вспомнил про оленьего



— Где мой пирог?



пастуха и про то, что надо поскорее отослать в конверте пироп моему отцу.

Отец наверняка приедет сюда и разыщет новое алмазное месторождение — кимберлитовую трубку. У нас уже много нашли таких трубок — и «Заполярную», и «Удачную», и «Зарницу», и «Мир». Если отец найдет новую трубку, вполне возможно, он назовет ее простым и скромным именем «Коля». И тогда Ленька лопнет от зависти. Что ни говорите, а это не якутский метеорит № 1.

Я отстегнул «молнию» на верхнем кармане комбинезона и запустил туда руку. Но что это: где мой пироп? Я обшарил пальцами все закоулки, вывернул карман наизнанку, осмотрел каждый шов и каждую ниточку. Спутник алмаза — пироп бесследно исчез.

Первая мысль была о Маниче. Не зря он ворочался вчера и спрашивал целый вечер, сплю я или не сплю. Я пул Манича в бок, но он даже не пошевелился. Накрывшись с головой ватной шубейкой, рабовладелец и пожиратель сэндвичей мистер Манч спал как ни в чем не бывало.

Я решил дожидаться, когда Манич проснется, и уже тогда свести с ним счеты. Если хорошо разобраться, мне даже повезло. Могло быть в сто раз хуже. Я ничуть не преувеличиваю и могу даже привести исторические примеры.

Вот вам одна такая история. Мне рассказал отец. В ней все правильно до самой последней точки.

В далекие времена на прииске в Ост-Индии раб нашел огромный алмаз. «Вот это привалило! — подумал раб. — Продам алмаз, и горю моему конец. И детей прокормлю, и внучат черноголовых. Пускай живут...»

Унести алмаз с прииска было трудно: и слева стража, и справа стража. Подумал раб, подумал, а потом взял ножик и ткнул себя в поясницу. Перевязал рану и в середину покрасневшего вмиг платка спрятал драгоценный камень. Так и вынес его с прииска.

Вышел раб на берег океана и думает: «Что теперь, куда с алмазом верней всего податься?» А тут вдруг идет навстречу лихой матрос. Раб к нему.

«Так, мол, и так — продай алмаз, а денежки горюну. И тебе хорошо, и мне тоже. Ладно, что ли?»

«О'кэй! — сказал матрос. — Все в порядке!»

Как все у них там было, как рядились, как судились, точно я не знаю, но только совести у матроса оказалось не больше, чем у нашего Манича. Матрос утопил раба, а камень продал за двадцать тысяч марок губернатору английской крепости — Питту. Богатство не пошло впрок убийце. Матрос промотал деньги и с горя повесился.

Губернатор продал драгоценный камень французскому королевскому дому. Пока там охали да ахали от радости, грабители высмотрели, где лежит алмаз, и унесли его из-под самого носа вельмож... Алмаз попал к берлинскому купцу, а от него — к императору Франции Наполеону Первому, который приказал вделать его в рукоять своей шпаги.

Если бы наш Манич жил в то время, он наверняка выковырял бы алмаз отверткой из шпаги Наполеона. Я в этом абсолютно уверен!

Прошло еще с полчаса, и Манич проснулся. Он сбросил с головы шубейку и улыбнулся такой милой и невинной улыбкой, что я растерялся. Может, я сам потерял пироп и напрасно обвинил честного человека? И вообще, мы часто были несправедливы к Маничу и просто-напросто затюкали его. Если тебе каждую минуту будут говорить, что ты дурак, ты и в самом деле можешь свихнуться и стать дураком. Это медициной доказано давно.

Короче говоря, Маничу я ничего не сказал и решил посмотреть, что будет дальше. Наш Пал Палыч всегда говорит — терпение и еще раз терпение. Мы развели с Маничем костер и вскипятили чай. Манич добровольно

вытащил из мешка целую кучу коржиков и увесистую, будто кирпич, плитку сала. Мы нарезали сало толстыми ломтями и начали завтракать по-европейски.

Второй день нашей самостоятельной жизни начался с неприятностей: заболела Ира-маленькая. У Пал Палыча была с собой походная аптечка. Он вынул термометр, встряхнул три раза и дал Ире. Мы все собрались в кружок и ждали результатов. Но даже без термометра все было ясно. Лицо у нашей Иры покраснелось, на губах шелушилась белая сухая кожа.

У Иры оказалось тридцать семь и восемь. Пал Палыч взял чайную ложку и полез в Ирин рот.

— Ну-ка, пошире! Скажи «а»...

Как мы и предполагали, у Иры-маленькой оказалась ангина. В прошлом году ее возили в Якутск и хотели делать там операцию. Ира-маленькая кричала на всю больницу и все-таки добилась своего. На месте Иры я бы тоже не дался врачам.

Мы стали советовать, что нам делать с Ирой-маленькой. Ребята предлагали отправить ее на машине домой, а самим пойти в новый поселок пешком. Все равно уже было недалеко. С этим гуманным решением согласились все, кроме Пал Палыча. Пал Палыч дал Ире какой-то порошок и сказал:

— Сами вылечим. Марш по машинам!

Болезнь Иры и безрассудное решение Пал Палыча сразу испортили нам настроение. По-моему, к детям надо относиться как-то иначе. Когда мама была дома, она по нескольку раз в ночь подходила ко мне и поправляла одеяло. А тут я раскрылся, а Пал Палыч даже и не подумал встать и подойти ко мне. Тут не только ангиной заболеешь, но и вообще ноги протянешь.

Пал Палыч всегда был жестоким человеком, и его даже прорабатывали за это на педсовете. Я не знаю, почему мы до сих пор любили Пал Палыча. Наверно, потому, что мы еще не умели анализировать явления. Исто-

рия с Ирой открыла мне глаза. Теперь я не могу относиться к Пал Палычу, как прежде.

Не случайно Пал Палыч никогда не вмешивался в уличные драки. Он только следил, чтобы мальчишки не применяли запрещенных приемов — не били под дых и не кусали друг друга за уши. Со стороны можно было подумать, что Пал Палыч не классный руководитель, а судья республиканской категории. Я думаю, если бы Пал Палычу разрешили, он бы тоже с удовольствием покуркался с драчунами в уличной пыли.

Поездку в неизвестный, никому не нужный поселок тоже затеял Пал Палыч. Теперь у нас наверняка полетят вверх тормашками наши летние каникулы. В этом году я собирался к деду в Якутск. Все равно дома делать нечего. Отец и мать — в тайге, а бабушка, с которой я всегда коротал летние дни, две недели назад уехала к своей дочке в Тамбов. У отца и матери была одна надежда на деда. Дед, то есть папин отец, служил касиром в Якутском пароходстве и, конечно, знал наперечет всех капитанов. Целое лето я мог бы бесплатно кататься на пароходах и ходить в широкоэкранное кино.

Отличные планы были и у других наших ребят. Ира-большая собиралась в туристский поход, Ира-маленькая — лечить свои гланды у Черного моря, а Ленька Курин выиграл на лотерейный билет холодильник «ЗИЛ» и решил махнуть в Ленинград. Ленька лично показывал мне лотерейный билет, но пока просил никому из домашних не говорить. К Леньке, как известно, применяли телесные меры наказания. В Ленинград его могли не пустить и вдобавок вздуть.

Ребята Леньке не верили. Перед отъездом Ленька ходил на почту и почему-то получил там за свой билет всего-навсего один рубль. Ленька клялся, что у него есть еще один билет, но он не хочет забирать все деньги сразу. Мне все равно, выиграл Ленька или не выиграл, потому что я навсегда вычеркнул Леньку из своей жизни. Но

я почему-то верил ему. Если человеку повезет, он может сразу выиграть и «Москвич», и холодильник, и самопишущую ручку «Нева».

Мы снова тронулись в путь. По берегу Вилюя бежал вдаль глубокий рубчатый след машины. Справа стеной подымались лиственницы и сосны; из чащи застенчиво выглядывали белые, в палец толщиной березки. Машина то взбиралась в гору, то катила вниз, в зеленые, еще не просохшие от снегов и ранних дождей распадки. Нам то и дело приходилось вылезать из кузова и вытаскивать машину из глубокой, расквашенной скатами колеи. При одном виде этих черных ям и котлованов у меня томи-тельно сжималось сердце.

В одном таком распадке машина седьмого «Б» за-рылась в грязь до самого радиатора. Шоферы напере-менку вертели заводную ручку, но мотор даже не всхли-пывал. С трудом вытащили мы машину на сухое. Обо-жгли свечи паклей, прочистили карбюратор, но мотор все равно не заводился. Только один раз пробежал в его остыв-шем нутре какой-то глухой робкий гул и сразу же стих.

Пал Палыч пошептался с шоферами, а потом собрал всех нас в кружок и сказал:

— Ну что ж, ребята, придется идти пешком. Тут уже совсем рядом.

Странное дело, почему мы должны шагать пешком, если испортилась машина седьмого «Б»? Мы люди гу-манные и прекрасно понимали, что такое дружба, со-лидарность и выручка. Но солидарность должна быть взаимной. Когда мы застревали в грязи, мальчишки из седьмого «Б» стояли, как американские наблюдатели,— ручки в брючки. Пускай теперь делают выводы и сами месят грязь ногами. Зачем нам воспитывать седьмой «Б» на положительных примерах? Каждый прекрасно пони-мает, что это не воспитание, а самое настоящее непро-тивление злу.

Наша машина взяла на буксир машину седьмого «Б»

и загромыхала в ПГТ. Теперь выбирать было нечего. Мы взвалили на спину рюкзаки и пошли вперед по берегу Вилюя. Сзади всех, приседая от тяжести, тащился со своим продовольственным мешком Манич.

Ира-маленькая совсем оплошала. Она прошла немножко, а потом остановилась и тихим, виноватым голосом сказала:

— Я больше не могу. У меня ноги не идут.

Мы сделали небольшой привал и вместе с Пал Палычем начали мастерить фронтовые носилки. Срубили две тоненькие березки, затолкали их в правый и левый рукав телогрейки и застегнули ее на все пуговицы. Когда носилки были готовы, уложили нашу Иру и понесли. Так и шли, будто на похоронах,— впереди носилки, а сзади, повесив носы, весь седьмой класс.

Дорога свернула куда-то в сторону. Мы шли почти у самой реки по влажному твердому песку. То и дело встречались огромные лиственницы с зарубками у самого корня и белыми неглубокими каемками вокруг ствола. Очевидно, эти деревья задумали срубить и отправить вниз по Вилюю строителям нового поселка.

Если обыкновенную лиственницу срубить и бросить в воду, она немедленно утонет. В стволе дерева очень много смолы и воды. Наши лесорубы уже давно догадались, как вязать из тяжелой лиственницы легкие, увертливые плоты. Сделают на коре небольшое кольцо, мкнут топором возле корня — и все в порядке. Лиственница высохнет за лето и поплывет, куда ей скажут.

Не беда, если какое-нибудь дерево пойдет ко дну. Лиственница в воде не гниет и не портится. Она становится еще тверже и лучше, чем была. Отец мне уже рассказывал про это чудо-дерево.

Еще в прошлом веке рабочие нашли на дне Дуная сваи деревянного моста.

«Что за мост, откуда он тут взялся?» — спросили рабочие.

В деревне, возле которой нашли сваи, никто никогда не слышал про этот мост. Даже самые древние старики качали головой и говорили:

«Нет тут моста и никогда не было».

За дело взялись ученые. Прикинули так, прикинули эдак и вскоре объявили, что мост построили почти две тысячи лет назад древние римляне. Лиственница пережила всех своих внуков и правнуков и стала крепче железа. Попытались было мастера выточить из свай на токарном станке всякие штучки и рукой махнули. Куда там!

Я нес Иру-маленькую вместе с другими ребятами и, будто лектор или какой-нибудь чтец-декламатор, рассказывал ей про лиственницу и вообще про все, что придет в голову. Ира-маленькая слушала рассеянно и, как все больные, ушла в свои собственные невеселые мысли.

Вскоре мы сделали привал на обед. Мне есть совсем не хотелось. Я остался возле Иры-маленькой и развлекал ее всякими рассказами. Мой напарник по котлу Манич отошел в сторонку и закусывал по-европейски коржиками, а Ира-большая варила суп для себя и своей подружки. Ира-маленькая лежала на самодельных носилках. У нее смуглое лицо и маленький, слегка приплюснутый нос. Со лба падают, будто крылья, две тоненькие черные прядки волос.

Я не знал, как развлечь больную и увести ее от мрачных мыслей. Я сел поближе к Ире и сказал ей, намекая на Пал Палыча:

— Ему никого не жалко... Добрый человек так не делает, добрый сразу все видит...

Ира-маленькая сорвала ромашку, которая росла гут же, возле носилок, и поднесла к тонким запекшимся губам.

— Я не люблю добрых,— тихо, но упрямо сказала она.

— А кого же ты любишь — жестоких и несправедливых? — удивился я.

Ира шевельнула бровями и тем же тихим упрямым голосом сказала:

— Жестоких я не люблю. Я люблю таких, как Пал Палыч.

Получилось, что Ира дала мне по носу. Я не стал расстраивать больную и сразу же дал задний ход.

— Конечно, у Пал Палыча тоже есть положительные качества,— сообщил я — Я его не ругаю, ты сама понимаешь. Я только думаю...

Но Ира уже не слушала, о чем я думаю. Она обкусала один за другим белые лепестки ромашки, повертела в руке куцый стебелек с желтой лохматой шапочкой наверху и вдруг сказала:

— Коля, если я попрошу тебя что-нибудь, ты сделаешь для меня?

— Конечно!

Ира-маленькая помедлила минутку, посмотрела на меня краешком покрасневшего, воспаленного глаза.

— Коля, помирись, пожалуйста, с Леней Куриным..

Я сидел возле Иры-маленькой и молчал. Я делал для Иры все, что мог: защищал от драчунов, нес на самодельных носилках, рассказывал, как лектор, про чудесное дерево лиственницу. Я и теперь сделаю для нее все, что угодно,— съем без закуски ложку горчицы, прыгну с кручи в Вилую, полечу в космос, хотя я очень боюсь этого и по дороге наверняка умру от страха. Не мог я сделать для Иры только одного — помириться с Леней Куриным. Леня для меня враг на всю жизнь!

## Глава восьмая

### ПРОСТО ВАНЯ

Города и даже вот такие маленькие поселки надо изучать долго и терпеливо. Но самое сильное и острое впечатление оставляет первая встреча. Пройдет время,



и ты найдешь и тихую боковую улочку, и дом с кружевной резьбой над окнами, и узенькую скамеечку, на которой острый нож задумчиво вырезал ласковое и простое имя девочки.

Но все равно новым находкам не отнять и никогда не сгладить первого впечатления. Оно будет всегда жить в твоём сердце. Вот и сейчас я закрою глаза и вновь вижу на берегу Вилюя длинный прямой ряд бревенчатых домов. У них еще нет ни окон, ни дверей, ни деревянного крылечка, возле которого стоит замурзанный мальчишка с железным самосвалом на бечевке. В домах живет лесной воздух. Остро пахнет стружками, смолой и солнцем. Грохочет бетономешалка, суетится транспортер с прогнутой нескончаемой лентой.

Справа, возле самого лесочка, разбросаны низенькие, слинявшие от солнца и дождей палатки строителей, а чуть ближе стоит длинный деревянный барак. Над кры-



шей барака дымит труба, из открытых дверей несет квашеной капустой. Повыше дверей висит новенький кумачовый лозунг: «Добро пожаловать!» Такие лозунги вешают у дверей клубов. Запах капусты и звон посуды сами за себя говорят, что это не клуб, а столовая. Впрочем, столовую можно условно назвать и клубом и красным уголком. По вечерам, отодвинув к стенке столы, здесь танцует под гармошку молодежь, пахнет одеколоном, пудрой и сапожным кремом.

У самой околицы поселка нас встретил шустрый черноглазый паренек. Одет он был с тем особым вызывающим шиком, который с головой выдает в Сибири новичка: серая куртка с длинной «молнией», узенький якутский ножичек на поясе, собачьи унты с огненно-рыжими отворотами. Венчала всю эту пеструю конструкцию новенькая заячья шапка с ботиночными тесемками наверху. Паренек вытер пот, который струился



из-под шапки, и поздоровался с Пал Палычем за руку. С первых же слов мы узнали, что лозунг «Добро пожаловать!» имеет прямое и непосредственное отношение к нашему приезду.

— Мы вас уже давно ждем,— скороговоркой выпалил паренек.— Сейчас пообедаем, а потом я покажу вам стройку. Я воспитатель. Пошли скорее, повар волнуется.

Паренек говорил так быстро, и слова ложились так плотно, что между ними невозможно было втиснуть не только свой вопрос, но даже лезвие ножа. Пал Палыч все же ухитрился и нашел возникшую на мгновение узенькую щель.

— Простите, как вас зовут? — спросил Пал Палыч.

— Иван Петрович. Но вы можете звать меня просто Ваня. Я человек негордый. Я штукатур, но сейчас я воспитатель. Я эту работу скоро брошу. Ну ее к черту. Пошли, что же вы стоите?

Мы подчинились воспитателю и пошли за ним. Ирины носилки мы свернули еще раньше. Ира ни за что не хотела въезжать в поселок на носилках. Она сказала, что чувствует себя лучше и может идти своими ногами. Очевидно, ей помог порошок Пал Палыча.

Ваня распахнул дверь столовой и голосом, каким приглашают на бал-карнавал, сказал:

— Заходи, братва!

Мы не знали, как вести себя с этим веселым суматошливым пареньком. Наше представление о воспитательной работе было несколько нарушено. Ваня не делал нам никаких замечаний, не совал нос куда не надо и даже не заметил, что мы полезли за стол с немытыми руками.

В алюминиевых помятых мисках были не щи, как предполагал я вначале, а самая настоящая солянка с мясом. Накануне строители убили дикого кабана. Одну половину они съели сами, а другую отдали на растерзание нам. Настроение у всех сразу подскочило. Я унич-

тожал солянку, слушал болтовню Вани и думал мимоходом, что жизнь тут веселая и сытная.

Ваня трещал как заведенный. За полчаса мы узнали о нем столько, сколько не узнаешь об ином человеке за целый год. Если бы Ваня был учителем, он заканчивал бы свои уроки за десять минут. Мы даже пожалели, что Ваня воспитывал каких-то других, незнакомых людей. Кто-кто, а мы бы уж нашли с ним общий язык!

В воспитатели Ваня попал по недоразумению. До Якутии он работал в городе Орле и вечером учился в десятилетке. Однажды молодого штукатура вызвали в комитет комсомола и предложили поехать в Якутию. Ваня не отбрыкивался, как некоторые другие, от холодных, суровых краев. Собрал чемоданишко и махнул на Север.

Приехали вместе с Ваней на строительство нового поселка много других пареньков и девчонок. Ребяг привели в палатку, выдали каждому новое вафельное полотно с черным клеймом на уголке и сказали: «Живи!» Но, видно, не пришла еще пора жить ребятам без присмотра и руководства. Там, где была молодежь, там и воспитатель. Воспитателя приписывали к палатке, как табуретку, как узкую койку с жестяным номерком на веревочке или жесткую, набитую ватой подушку.

Запасного воспитателя у здешних строителей не оказалось, а добровольно идти на эту должность тоже никто не хотел. Прораб Афанасьев, который был тут самое важное и ответственное лицо, пошел на хитрость. Он взял анкеты ребят и начал читать, кто, кем и когда работал. Тут наш Ваня и попался, потому что месяц или два работал, тоже, вероятно, по недоразумению, массовиком.

Не успел Ваня понять, что и к чему, как уже был воспитателем. Культинвентаря, без которого немаловажная серьезная воспитательная работа, Ване выдали немного — затрепанную одноактную пьесу без заглавия, коробку домино и две сапожные щетки. Одну для желтого крема, а другую для черного.

Работы у Вани тоже было немного. Подымать ребят на зарядку, следить, чтобы они чистили зубы порошком, заправляли как следует койки, и отваживать их от дурных привычек. Ребята имели моду валяться в одежде на постелях и драить чужими одеялами ботинки. Две щетки, выданные под расписку, исчезли на второй же день несчастной Ваниной службы.

После обеда Ваня повел нас в общежитие. Он уже успел сбросить где-то свои рыжие унты и заячью шапку. От прежнего шика остался только ножичек. Он болтался на поясе, поблескивая точеной костяной рукояткой. Строители дали две палатки нам и две седьмому «Б». Между прочим, у седьмого «Б» не было ни классного руководителя, ни преподавателя по труду. Неизвестно почему, и того и другого отправили перед самым нашим отъездом в ДОК, то есть в школьный деревообрабатывающий комбинат. Все заботы о седьмом «Б» свалили на Пал Палыча.

В просторной брезентовой палатке стояли одна возле другой четырнадцать кроватей. Семь справа и столько же слева. Возле каждой кровати была тумбочка с круглыми кольцами и огромным замком, будто на складе горючих и взрывчатых веществ.

— Зачем это, Иван Петрович? — спросил Пал Палыч и кивнул на замки.

Иван Петрович, или просто Ваня, замялся.

— Вы не бойтесь, — сказал он. — У нас тут ничего не крадут. Ребята письма запирают.

— Какие письма?

Лицо Вани залилось нежным застенчивым румянцем. Видимо, и у него была такая же тумбочка и такой же замок.

— От девчонок письма, — объяснил он. Потом обернулся к нам и крикнул: — Захватывай кровати! Навались!

Отпихивая друг друга локтями, мы бросились к же-

лезным койкам. Но тут суровый голос Пал Палыча пригвоздил нас к месту:

— Назад!

Удивленные и разочарованные, мы попятились на прежние позиции — к порогу. Пал Палыч вышел на середину палатки и стал выкликать всех по очереди:

— Маниченко!

— Я!

— Занимай эту кровать... Курин!

— Я!

— Занимай эту.

Мне Пал Палыч указал самую плохую и кривоногую кровать. Но дело не только в том, что была она кривоногой. Моя кровать стояла между кроватями Манича и Леньки Курина. Неужели даже здесь я не избавлюсь от этого ненавистного Леньки?!

Пал Палыч распределил кровати и отправился с Вайей и остальными ребятами в другие палатки. Нам Пал Палыч приказал устраиваться и ждать дальнейших распоряжений.

После ухода Пал Палыча в палатке, как бывает всегда в новом незнакомом месте, сразу стало тихо. Я снял комбинезон и стал примерять новые штаны; Ленька застилал по своему вкусу кровать, а Манич сел на корточки перед тумбочкой и начал один за другим складывать туда сдобные, помятые в продовольственном мешке коржики. Манич долго колдовал возле своей тумбочки. Он уложил штабелями коржики, а затем затолкал туда же огромную, завернутую в газету плитку сала. В палатке деловито и сухо щелкнул крепостной замок. Все обернулись и посмотрели на Манича.

— Повесь ключ на шею, а то потеряешь! — сказал Ленька.

Манич втянул голову в плечи, будто жулик, внезапно пойманный на месте преступления.

— Обойдемся без рыжих,— промямлил он.

Это была постоянная острота Манича.

Возвратились Пал Палыч и Ваня. Пал Палыч сказал несколько фраз воспитательного значения, выразил надежду, что мы не ударим лицом в грязь, и так далее и тому подобное.

— Надо избрать старосту общежития,— сказал Пал Палыч.— Предлагаю Леню Курина. Возражений нет?

Я промолчал. Если я выступлю против Леньки, значит, я автоматически выступлю и против Пал Палыча.

— Кто за Леню Курина, подымите руки,— сказал Пал Палыч.

Все, кроме меня, подняли руки. Пал Палыч посмотрел в мою сторону и спросил:

— Кто против?

Я снова не поднял руки.

— Кто воздержался?

Но и тут я не поднял руки. В конце концов, это мое право — как хочу, так и голосую.

Выбрав органы самоуправления, мы отправились в поселок. Мы снова, теперь уже поближе, осмотрели деревянные коробки домов, бетономешалки и транспортеры. Пока мы обедали, ничего там не прибавилось. Разве какой-нибудь новый кирпич да белая, обтесанная топором сосновая балка. Много еще пройдет времени, пока засверкают на солнце стекла и над высокой трубой колышется и поплывет к облакам серый лохматый дымок.

Рабочие встретили нас приветливо. Посмеивались и шутливо задирали при встрече. Ко мне подошел пожилой якут-плотник. Он стал расспрашивать, кто я такой, и все время поглядывал на меня, будто искал сходства с кем-то другим.

— Погоди, сейчас я тебе что-нибудь дам,— сказал плотник и стал шарить в карманах брезентовой куртки. Ничего подходящего там для подарка не оказалось. Только желтый составной метр да толстый гвоздь с двумя крылышками возле острого кончика.

— Ты возьми, Колян,— сказал плотник и подал мне гвоздь.

Я не любил, когда меня называли «Колян». Но сейчас мне было очень приятно. Я взял гвоздь и спрятал его в карман.

Времени до ужина оставалось еще много, и мы по совету Пал Палыча принялись писать письма. Посреди палатки стоял длинный дощатый стол самодельной работы. Ребята облепили его со всех сторон и начали скрипеть перьями. Я не желал сидеть за одним столом с Ленкой Куриным и примостился со своей тетрадкой возле высокой неудобной тумбочки.

Я подробно расписал, как мы ехали по берегу Вилюя, как вытаскивали из грязи машину, как мастерили настоящие фронтовые носилки для Иры-маленькой. Я накатал четыре страницы, но не сумел перечислить даже половины всех событий. За два дня их накопилось больше, чем за всю мою прежнюю жизнь.

И только про спутник алмаза пироп я написал кратко и сдержанно: пошел к оленьему пастуху, выменял у него на флягу красный камень, а потом потерял. Пускай отец приезжает сюда и сам тут все разузнает — может, это настоящий пироп, а может, просто-напросто никому не нужная стекляшка...

Я написал отцу о пиропе и снова стал вспоминать все, что было связано с этим злополучным камнем. Как прятал в карман, застегивал на «молнию», как ворочался вечером Манич и спрашивал меня, сплю я или не сплю. Нет, как хотите, а без Манича тут не обошлось!

У меня трещала голова от этих мыслей. Что сделать с Маничем — рассказать ребятам, обыскать, набить ему морду? Ни к чему это не приведет. Камешек Манич упрятал, а лупить его опасно. Манич не признавал в драке никаких правил и кусался, как зверь.

Барская еда, которой потчевали нас в полдень, окончилась, а вместе с ней, видимо, и наша беспечная жизнь.



Вечером нас кормили пшенной кашей и таким черным, вязким хлебом, что в нем застревали пальцы. Из столовой мы возвратились голодные и скучные.

Но самое неприятное случилось вечером, когда мы начали укладываться спать. Моя кривоногая кровать, как я уже говорил, стояла возле кроватей Манича и Леньки. Повернешься на один бок — Манич, повернешься на другой — Ленька. Я не умел спать на левом боку. Во-первых, это вредно, а во-вторых, на левом боку мне снились кошмарные сны и я кричал так, что было слышно сразу на Большой и Малой Садовой. На правом боку мне тоже снились сны. Но это были спокойные короткометражные сны, и хлопот они никому не доставляли.

Я разделся и лег на правый бок. Ленька, как я отлично знал, тоже всегда спал на правом. Сегодня Ленька почему-то изменил своему правилу и лежал на вредном левом боку, то есть лицом ко мне. Нас разделял узенький, будто ручеек, проход между кроватями. Прямо передо мной торчал длинный Ленькин нос и круглое, как гриб масленок, ухо. Ленька сверлил меня своим серым выпуклым глазом и нахально улыбался. Второй глаз Леньки был спрятан подушкой. Ленька сейчас паразитально был похож на одноглазого людоеда-циклопа.

Я перевернулся на другой бок, но уснуть все равно не смог. Наверно, это было потому, что я ненавидел сейчас Леньку сильнее, чем прежде.

И вдруг мне пришла в голову блестящая идея. Плестись мне на Леньку и его серый глаз!

Я взял свою подушку и положил на другую сторону. Туда, где были недавно мои ноги.

На душе у меня сразу стало легче. Я улыбнулся и закрыл глаза.

Но нет, Ленька и тут не дал мне покоя.

— Квасницкий! — сказал Ленька. — Я не обязан нюхать твои ноги. Ляг как следует! (Когда мы с Ленькой ссорились, он всегда называл меня по фамилии.)

Я не обратил на Ленькино замечание никакого внимания. Тоже мне староста нашелся!

Ленька подождал несколько минут и снова сказал:

— Квасницкий, убери свои вонючие костыли.

Я заскрипел зубами так, что все вдруг в палатке притихли. Ленька не успокаивался:

— Квасницкий, если ты не ляжешь как следует, я вынесу кровать вместе с твоими ногами!

Я приготовился к отпору. Пускай только подойдет. Пускай только попробует!

Некоторое время Ленька лежал тихо. Наверно, он придумывал какую-нибудь месть. Но придумать Ленька ничего путного не смог. Он сбросил с себя одеяло и громко сказал:

— Ребята, выносите кровать Квасницкого!

Заскрипели пружины: с кроватей один за другим запрыгали на пол мальчишки.

— Считаю до трех,— сказал Ленька.— Раз, два...

При слове «три» я схватил подушку и бросил на противоположную сторону. Ребята, которые не прочь были покуражиться над беззащитным человеком, разочарованно отступили.

Хочешь не хочешь, мне пришлось спать на левом боку.

## Глава девятая

### ЗНАЙ НАШИХ!

Кем вы хотите быть? Такой вопрос задал нам утром прораб Афанасьев. Прораб, который только ночью был из тайги, оказался высоким худощавым человеком с большими профессорскими очками на крючковатом носу. Он был немножечко похож на волшебника и немножечко на попугая, который вытаскивает из коробочки и раздает направо и налево любое счастье.

У нас уже был опыт. Мы не торопились высказывать-

ся и терпеливо ждали, что скажет прораб. Это все-таки не в школе. Тут за оперных певцов могут надавать по шее. И еще как!

Наше молчание прораб расценил как признак самостоятельности и душевной твердости.

— У нас любые спецы есть,— сказал Афанасьев.— И плотники, и каменщики, и маляры. В два счета обучим. Только старайтесь. Но я думаю, лучше всего вам учиться на штукатуров. Ведь верно, ребята?

— Верно!— негромко и вразнобой пронеслось по рядам.— Всю жизнь мечтали!

Афанасьев был увлечен идеей скоростного обучения и поэтому не стал распространяться про штукатурное ремесло.

— Пошли за мной,— сказал он.— Сейчас мы тово... в два счета.

Прораб привел нас к большому трехэтажному дому. Внутри стучали молотки, а возле дома стоял без движения транспортер с длинным, прорванным в нескольких местах полотном. Не гудели его шестеренки, не бежали вверх по гибкой и легкой ленте розовые веселые кирпичи.

Афанасьев страшно расстроился. Лицо у него сразу помрачнело, а крючковатый нос опустился еще ниже и стал совсем как у попки из детской энциклопедии.

С каждой минутой Афанасьев накалялся все больше и больше. Нельзя было без сожаления и боли смотреть на этого человека. Потрясая над головой маленькими жилистыми кулаками, прораб заявил, что его подвели под монастырь, зарезали без ножа, бросили в грязь и растоптали сапогами... Пал Палыч был спокойным, уравновешенным человеком, но и он не выдержал.

— Послушайте,— сказал он,— может, мы поможем вам как-нибудь?

Афанасьев сразу же уцепился за эту мысль.

— Ну спасибочко вам, выручили,— поспешно сказал он.— Сегодня потаскаете кирпичи, а завтра починим

транспортер и тово... в общем, в два счета. Как Афанасьев сказал, так и будет!

Афанасьев проявил небывалую прыть и тут же нашел всем нам работу. Одним велел носить кирпичи для печек, другим — рыть котлован, третьим — гасить известку.

— Вы, Пал Палыч, не волнуйтесь,— сказал он.— Ребятам денегат подбросим... У нас с этим делом тово... одним словом, калькуляция.

Прораб вытащил из нагрудного кармана замусоленную записную книжку и ткнул пальцем в то место, где была калькуляция. Пал Палыч не стал проверять записи. Для нас главное не деньги, а производственная практика. Мы дали понять это прорабу с первого шага.

Мне и Леньке Курину досталось носить кирпичи. Дело это было совсем легкое и веселое. Прижмешь к груди пяток кирпичей — и одним махом на третий этаж. Можно сто лет носить, и то не устанешь!

Мы соревновались с Ленькой на выносливость и быстроту. Ленька возьмет пять кирпичей, а я назло ему — шесть. Ленька — шесть, а я — семь. Бегали мы так, что под ногами плясали сходни и вниз сыпались глина и мелкие засохшие крошки раствора. Ленька обошел меня на два круга. Но это совсем не значит, что он победил. У меня ноги короче, чем у Леньки. Настоящий судья, или, как его еще называют, арбитр, должен всегда судить объективно и делать скидку на ноги.

Наш бег с каждой минутой становился все тише, а кирпичи все тяжелее. У меня уже подламывались от усталости ноги. Но все равно я не бросал работы. Пока Ленька не упадет и не запросит пощады, я не сдамся!

Пал Палыч вместе с ребятами из седьмого «Б» ссыпал в яму известку. Оттуда летела во все стороны белая едкая пыль. Мальчишки прицепили к своим носам намордники из носовых платков, то и дело чихали и отплевывались. Им тоже было несладко.

Пал Палыч вынул из брючного карманчика большие, на медной цепочке часы и крикнул:

— Перекур!

Нам очень понравилось это простое рабочее слово. Оно сразу сделало нас взрослее и самостоятельнее. Курить, конечно, никто не думал. Мы были некурящие. Мы сидели рядом с Пал Палычем и болтали кому что вздумается.

Пригревало солнце, внизу синел широкий в этих местах Вилуй. У самого берега, зацепившись за кусты, послушно стояли облака.

Все утро я думал о своем доме. Теперь все это как-то само собой улеглось, ушло куда-то в сторону и прихоронилось там до поры. Ничего со мной не случится. Разве я тут один! Я смотрел на ребят и думал: хорошо, когда рядом друзья. Порой они бывают несправедливы и могут даже побить. Но все равно с ними легче на свете жить и дышать.

Только Леньки Курина не было рядом с нами. Подвернув до локтя рукава рубашки, Ленька ходил вокруг испорченного транспортера, ощупывал с видом знатока болты и шестеренки.

Ленька всем и на каждом шагу говорил, будто разбирается в технике лучше всех. Этой болтовне, как ни странно, поверили. Когда в школе портилась розетка или перегорали пробки, всегда говорили: «Позовите Леню Курина, он сделает». Подумаешь, большое дело починить пробки! Если на то пошло, я разбираюсь в технике не хуже его. В том году, например, я изобрел мышеловку, и она даже ловила мышей. Но я не звонил об этом по всей школе. Изобрел — и ладно.

Ленька походил вокруг транспортера, а потом залез под полотно и лег на спину, как шофер. Ленька бережет ботинки и поэтому ходит босиком. Мне видна Ленькина нога с твердой желтой пяткой и сплюсненными пальцами. Вот Ленька отогнул большой палец, будто что-то



*Ленька всем и на каждом шагу говорил, будто разбирается  
в технике лучше всех...*

напряженно рассматривает и думает — так это или не так? На лице Леньки, которого я, конечно, не вижу, — раздумье и смутная надежда. Хлоп! — и палец снова стал на свое место. Ленька нашел то, что искал, и принял решение. Ступня Леньки деловито качнулась вправо и влево: «Сейчас мы все сделаем. Будьте здоровы!»

Что произошло под транспортером дальше, проследить я не успел. Нежданно-негаданно прибежал наш старый знакомый Ваня и передал нам страшную весть. Афанасьев, или Афоня, как называл Ваня прораба, обвел нас вокруг пальца. Он даже не помышлял делать из нас «в два счета» штукатуров. «У меня тут не курсы, а производство, — заявил Афоня. — Пускай и за кирпичи благодарят». С транспортером, под которым лежал сейчас великий механик. Ленька, тоже было совсем не так. Испортился он не вчера, не позавчера, а три месяца назад. И вообще, как заявил взволнованный и запыхавшийся Ваня, это был не транспортер, а гроб с музыкой.

Такого мы не ожидали. Все решили, что Пал Палыч немедля возьмет свою толстую, похожую на букву «Т» палку и пойдет бить обманщика и эксплуататора. Если Пал Палычу придется туго, мы поможем.

Но, странное дело, Пал Палыч даже и не думал вооружаться своей палкой.

— После обеда я с ним поговорю, — сказал Пал Палыч. — А сейчас — марш по местам!

Работа потеряла для нас всякий интерес. Мы уже не бегали по сходам как сумасшедшие и отдыхали, когда нам вздумается. Вначале Пал Палыч покрикивал на нас, а потом махнул рукой. Он и сам понимал, что работать из-под палки нельзя.

Ленька отнес кирпичи два или три раза и вообще бросил работу. Он снова залез под транспортер и сидел там как привязанный. У Пал Палыча тоже вдруг пробудился интерес к технике. Он сел возле Леньки на корточки и давал ему советы, будто главный консультант.

Ленька огрызался из своего укрытия и, видимо, делал по-своему. На месте Пал Палыча я бы уже давно надавал этому Леньке по шее.

Пришел Ваня и вместе с ним низенький слесарь с деревянным ящиком для инструментов. Руки, щеки и даже нос его были в черных лоснящихся пятнах. По всему было видно, это человек знающий и решительный. Слесарь осмотрел транспортер, покачал рукой брезентовое полотно и, пропуская в слове букву «е», кратко сказал:

— Сделаю.

Новый специалист забрался под транспортер и принялся за дело. Леньку, как это ни странно, он не прогнал, а даже сделал своим подручным. Мой бывший друг подавал слесарю ключи, гайки, шурупы, поддерживал какие-то оси и железки. Лицо Леньки сияло от счастья. Станный самовлюбленный человек! Если б я захотел, я тоже мог подавать гайки и шурупы. Разве в этом смысл жизни!

Слесарь вылез из-под транспортера, вытер руки клочком пакли и сказал Пал Палычу, что все в порядке и теперь транспортер будет работать, как часы. Осталась всего-навсего какая-то мелочь — расточить втулку и сделать маленькую шпонку для шестеренок. Все это слесарь обещал изготовить к завтрашнему дню. Он простился с Пал Палычем за руку, хлопнул по плечу Леньку и, сказав еще раз «сделаю», ушел.

И все же прораб напрасно думал, что все на свете проходит безнаказанно. После обеда Пал Палыч поймал вероломного Афанасьева возле столовой, вежливо взял его под руку и повел в лес. Мы подождали немного, но криков и стонов не услышали. Видимо, Пал Палыч уволок прораба в самую чашу.

Мы были несовершеннолетние и поэтому на работу после обеда не пошли.

Ребята из нашей палатки сели к столу резаться в домино «на высадку». Я сходил к Ире-маленькой, которая



отлеживалась по приказанию Пал Палыча в постели, а потом возвратился домой, достал из рюкзака книжку и лег на кровать.

Книжка попалась нудная, и я сразу же уснул. Мне снова снились короткометражные сны. Легкие, спокойные и по-домашнему уютные...

Я сидел на кухне возле большой сковородки с жареным мясом, болтал ногами и рассказывал маме, как я жил в новом поселке, как меня единогласно избрали старостой общежития, как носил на третий этаж тяжелые кирпичи и обогнал на целых два круга Леньку Курина.

Не забыл я и про плотника-якута. Он увидел, как я гоняю с кирпичами по этажам, подозвал меня и сказал:

«Теперь, однако, и я вижу, какой ты есть. Ты меня, Колян, прости, но я должен вручить тебе вот этот гвоздь».

Мама смотрит на меня и недоверчиво улыбается:

«Коля, мне кажется, в последнее время ты перенимаешь привычки Лени Курина и немного преувеличиваешь».

«Что ты, мама!»

Я лезу в карман и достаю оттуда большой железный гвоздь с двумя легкими крылышками возле самого кончика. Мама поражена.

«Отец! — кричит она. — Иди скорее сюда!»

Из другой комнаты приходит мой отец. В руке у него рейсфедер, которым он чертит свои чертежи, на кончике носа озабоченно висят очки.

Отец берет из маминых рук большой гвоздь, внимательно осматривает его и даже зачем-то нюхает.

«Да, это самый настоящий гвоздь, — подтверждает отец. — Я никогда не сомневался в способностях своего сына. Это вам не какой-то Ленька Курин!»

...Когда я проснулся, ребят в палатке уже не было. В квадратное окошко напротив меня светило красное закатное солнце. Где-то в стороне слышались короткие глухие удары — ребята играли в волейбол. К ребятам

я не пошел. Меня не принимали в игру, если даже было пустое место. Я звал мячи и не умел тушить через сетку. У меня были короткие ноги.

Но сегодня это не огорчило меня, потому что счастье не в ногах. Я решил пройтись по берегу Вилюя, еще раз вспомнить свой сон и подумать о своей жизни. То, что я видел во сне, могло быть и наяву. Нужно только выработать определенные черты характера и навсегда покончить с трусостью. В самом деле, чем я хуже этого Ленки!

Солнце садилось за гребешок леса. По реке от одного берега к другому разлилось вечернее зарево. Вначале река была огненно-красной, затем, когда солнце задело горящим краешком за острые вершины деревьев, стала фиолетовой, затем совсем синей и густой. На берегу стало холодно и неуютно, будто у догоревшего костра.

На взгорье маячил наш трехэтажный недостроенный дом. Неподалеку темнела длинная стрела транспортера. Я постоял еще немного и пошел туда. Возле дома ни одной живой души. Брошенные как попало, валялись плоскогубцы, молоток и разводной ключ великого механика Ленки Курина.

Рядом с транспортером стоял деревянный щит с большим черным рубильником в железном кожухе. Я вытер ладони о штаны и нажал рубильник. Вспыхнули тотчас же погас снопик голубых искр. В транспортере что-то загремело, забренчало, но полотно даже не шелохнулось.

Минута раздумья — и я под транспортером. Устроен он проще мясорубки: две шестеренки, вал и бегущее вкруговую полотно. Я лег на спину и стал по очереди ощупывать каждую деталь. Все было в порядке. Не надо никакой втулки и шпонки. Просто-напросто разошлись в стороны шестеренки, которые вертели вал.

Вот тебе и слесарь! Такой чепухи и то не мог понять! Впрочем, хвастать пока нечего. Починю транспортер, и пускай тогда сами делают выводы — и слесарь, и про- раб Афанасьев, и Пал Палыч, и Ленка Курин.

Знай наших!

Шестеренки были у самого края. Я выбрался из-под транспортера, поднял молоток, который бросил Ленька, и стукнул по коротеньким заржавелым зубьям.

А ну, еще раз! Еще!

Возле транспортера стоял звон и грохот, будто в кузнице. Я вошел в раж и лепил увесистым молотком по шестеренке, болтам и круглым, как пуговицы, заклепкам.

А ну, еще раз! Еще!

Я не знаю, как это случилось. Наверно, я не рассчитал свои силы и грохнул молотком сильнее, чем надо. Шестеренка неожиданно взвизгнула и развалилась на две части...

## Глава десятая

### НОЧНЫЕ СТРАХИ

Хорошо все-таки было дома. Там — полная свобода. Отец и мать в тайге, а бабушка с утра до вечера сидит возле печки и вяжет кофту. Бабушка с головой уходит в эту кофту. Она нанизывает одну петельку на другую и пришептывает про себя. Если задать вопрос, бабушка собьется со счета и тогда придется перевязывать. Я не задаю вопросов. Бабушка довольна мной, я — бабушкой. Можно делать что угодно — расплавливать на печке олово, изобретать мышеловку, проводить под подушку электричество.

В тайге я потерял свободу. Ребята, которых я считал в принципе порядочными людьми, рассказали Пал Палычу, что я ругался с Ленькой, валялся с книжкой на кровати, а потом ушел и никому про это ничего не сказал. Из-за них я остался без ужина.

Вечером, когда все уже сидели в столовой, а я возился возле транспортера, Пал Палыч сказал:

— Ужина Квасницкому в палатку не носите. Пускай сидит голодный.

Интересно, что они сделают со мной, если узнают про шестеренку? Бросят в реку, посадят на цепь, линчуют? Не думайте, что я перебарщиваю, или, как еще говорят, сгущаю краски. Я видел своих дружков насквозь.

Первый раз в жизни я лег спать голодным. Видимо, Пал Палыч не отдавал отчета в своих поступках. Учеников нельзя морить голодом, их надо убеждать и воспитывать.

После отбоя в палатке появился Пал Палыч. Я окончательно убедился, что он попал под влияние и не имеет собственного мнения. Пал Палыч прошелся взад-вперед по палатке, остановился возле моей койки, повертел носом, как учитель химии возле реактивов, и сказал:

— Квасницкий, надо каждый вечер мыть ноги холодной водой.

Пал Палыч постоял еще немножко возле кровати и ушел. Он думал, что я сразу же встану и побегу мыть ноги. Как бы не так! У меня тоже есть свой характер и свои принципы!

В палатке трижды мигнул и погас свет. Ребята пожужжали, пошептались и уснули.

Над тайгой светила изо всех сил луна. Косые лучи ее сочились сквозь невидимые раньше щелочки палатки, засекали пол мелкой серебряной пылью.

Я лежал на койке лицом вверх и вспоминал все, что случилось сегодня со мной. Итог был неутешительный. Неприятности, неприятности и еще раз неприятности. Вспомнилась мне и дурацкая история с шестеренкой. Интересно, почему Пал Палыч так подозрительно смотрел на меня весь вечер и спрашивал, куда я ходил? Разве ему не все равно — был я в тайге или стоял на берегу и швырял в реку голыши?

Все это не случайно. Пал Палыч как-то узнал про шестеренку... Скорей всего, ножку подставил мне Ленька Курин. Ленька выследил, куда я ходил, и рассказал про все Пал Палычу. Дурак, как я раньше не додумался до этого!

Теперь Пал Палыч знает все и готовит надо мной расправу. Именно поэтому он спрашивал, куда я ходил, а вечером сказал, чтобы я мыл ноги холодной водой. Ноги были только первой придишкой...

Я тихонько повернул голову и посмотрел на Леньку. Он не внушал мне никакого доверия. Человек с такой физиономией способен на что угодно. Ленька насвистывал носом какую-то песенку и нахально улыбался во сне. Порядочный человек никогда не станет свистеть и нахально улыбаться во сне.

Луна уже давно укатилась за реку, а я все не мог уснуть. Лежал и сто раз задавал себе один и тот же вопрос: предал меня Ленька или все же не предал? Где-то внутри меня копошилось сомнение: может, я напрасно обвиняю Леньку и сам нагоняю на себя страх?

Мнительный человек может что хочешь придумать. У нас в ПГТ жил дед Тимофей, который вообразил, будто бы он ночью проглотил вместе с лекарством чайную ложку. Дед Тимофей не давал врачам проходу. Только откроется поликлиника, он уже тут как тут. Сидит возле двери и ждет приема. Вытаскивай ему ложку, и баста.

Уговаривал врач мнительного старика, уговаривал, а потом решил припугнуть. «Ложку,— говорит,— я выгашу специальным крючком, но придется усыплять. Без этого нельзя». Дед Тимофей до смерти боялся всяких операций, но все же решился на этот крайний и рискованный шаг. Снял валенки, затолкал поглубже портянки, чтобы по ошибке кто-нибудь не утащил, лег на кушетку и начал нюхать снотворное лекарство.

Трудно сказать, почему так получилось. То ли дед по жадности своей нанюхался больше, чем надо, то ли вообще любил понежиться в тишине, но так или иначе проспал он до самого вечера. Открыл дед глаза и видит чудо: лежит возле него на стуле маленькая почерневшая ложечка. Дед схватил ложку и — домой. Даже не спросил, почему ложка черная и почему у нее отгрызен кон-

чик. Видимо, решил, что ложка почернела от желудочных соков и высокой температуры.

С тех пор деда Тимофея прозвали в ПГТ Шпагоглотателем. Дед не обижался на это легкомысленное прозвище и порой даже сткликался на него, будто бы это какое-то ученое звание или почетный титул.

Я вспомнил Шпагоглотателя и немножко успокоился. Выдумал сам себе ложку и мучаюсь. Я перевернулся на левый бок, чтобы не видеть нахальной улыбки Леньки Курина, и закрыл глаза. Спать!

Ночь пролетела стрелой. Кажется, только закрыл на минуту глаза — и вот уже оно, утро. В палатке стоит зыбкая синеватая мгла, а за окошком солнце уже высекает на острых вершинах лиственниц рыжие искры. Утро, будто костер, разгорается все жарче и жарче.

— Подъем! — слышу я голос Леньки Курина.

Странно, но меня уже не раздражает этот скрипучий административный голос бывшего друга. Пускай орет!

Я мигом влез в свой комбинезон, схватил со спинки кровати вафельное полотенце и побежал умыться на Вилую. На берегу толпились березки. Они проснулись еще до рассвета, уже давно умылись и теперь смотрели в зеркальную гладь воды чистенькие, нарядные и веселые. Я глядел вокруг и улыбался. Все дарило этому тихому золотому утру свои маленькие добрые подарки. Пенек — золотую горошину клея, береза — каплю росы с листа, а птица — песню.

Мне тоже захотелось подарить что-нибудь хорошее и приятное, только я не знал что. Может быть, гвоздь, который лежал у меня в кармане комбинезона со вчерашнего дня? Если б Ленька узнал мои мысли, он бы лачал корчить гримасы и глупо хохотать. Леньке совершенно непонятно и недоступно прекрасное и возвышенное. Как только я мог дружить с этим грубым и диким человеком!

После завтрака все отправились на стройку. Впереди колонны, помахивая рукой, вышагивал наш друг Ваня. Наконец-то этому человеку повезло. Ваня сбросил с помощью Пал Палыча ярмо воспитателя и стал в один момент инструктором производственного обучения. С таким инструктором мы пойдем далеко. В этом были уверены абсолютно все.

Ваня привел нас к домам, где мы вчера носили кирпичи и ссыпáли в яму известку, и кратко объяснил задачу. Каждый день у нас будет четыре часа практики и один час теории. Все это Ваня берет на себя. Кто будет стараться, получит разряд и сможет работать в любой точке Советского Союза. Но лучше всего остаться в Якутии, потому что это край неисчерпаемых природных богатств и возможностей.

Ваня ставил задачу и все время поглядывал в тетрадку. Это был первый Ванин конспект по основам штукатурного дела. Речь Вани всем понравилась. Особенно то место, где он говорил о любой точке Советского Союза и разряде. Конечно, мы будем стараться. Какие могут быть разговоры!

Ваня закончил свою коротенькую речь, свернул трубочкой тетрадку и сказал:

— Пошли, братва, в дом. Там я все на практике покажу.

Пал Палыч поморщился. Он не любил, когда Ваня называл нас братвой, и, по-моему, даже разъяснял ему и просил сделать выводы. Замечание Пал Палыча на Ваню не подействовало. Наверно, у него это было врожденное, и он просто-напросто не мог перевоспитаться.

В этот день Ваня учил нас прибивать к стенам длинные тонкие планки, то есть дрань. Он разбил нас на группы, дал каждому молоток, горсточку гвоздей и приказал действовать. По всему дому, будто веселые дятлы, застучали молотки.

Вместе с нами работал и Пал Палыч. Он старался

изо всех сил, но все равно делал один ляп за другим. То дрань косо прибьет, то гвоздь изогнет, то вообще тяпнет молотком по пальцу, хмурится и сосет его, как мальчишка. Мы не смеялись над Пал Палычем, потому что были гуманные люди и знали, что сейчас он тоже ученик.

Прибивать дрань совсем не так легко, как это кажется. Сначала набивается первый ряд — простильный, а потом, когда уже все готово, второй ряд — выходной. Получаются ровные красивые ячейки, будто на тетрадке в косую линейку. Прибьют штукатуры дрань до самого потолка и принимаются за новые хитроумные дела — кладут в ячейки серый вязкий раствор, выравнивают его полутёркой, заглаживают гладилкой.

Мы с завистью поглядывали на штукатурные причиндалы в углу комнаты, на все эти полутерки, стальные лопатки для раствора, ковши и правила. Здесь были и маленькие увертливые инструменты, и посolidнее, для крупной мужской руки. Название им штукатуры давали со смыслом и значением. Квадратную дощечку с острой, похожей на клюв рукяткой внизу называли соколом, зубчатый педантичный молоток — бучардой, а коротенькую расторопную кисть — скомелком.

Через день, а может быть, через два Ваня подойдет к этой горе инструментов, поглядит на нас, будто на солдат-новобранцев, и скажет:

— А ну, братва, получай!

А пока придется терпеть. Дрань — это вам тоже не фунт изюму. Пока выучишься прибивать, сто потов сойдет.

С каждой минутой дело у меня шло все лучше и лучше. Я уже не тюкал как попало молотком, а бил точно — в самый центр шляпки. Удар, второй — и гвоздь как миленький сидит в бревне. Рядом со мной трудились две Иры и Манич. Ленка Курин стучал молотком где-то наверху.

Ваня бегал с одного этажа на другой. Шумел, сует-



тился, но, в общем, делал то, что надо. Он показывал, как правильно держать молоток, как вытаскивать кривые гвозди и как спастись от боли, если стукнешь сам себя по руке.

Четыре часа пролетели, как одна минута. Даже не хотелось бросать молоток и идти обедать. Это была моя первая в жизни работа. Раньше я тоже кое-что делал: выносил помойное ведро, чистил картошку и однажды даже мыл в комнате пол. Но все это было не то... Мелочь, пустяк, если хотите — игра.

Никогда еще не было у меня так хорошо и легко на душе. Я был готов на все. Мог совершить какой-нибудь благородный поступок или помириться с Ленькой Куриным, если бы он сам подошел ко мне и попросил прощения. Но я так и не успел сделать ничего хорошего. Все вдруг завертелось в моей жизни в обратную сторону и полетело куда-то в тартарары.

Случилось это так. Только мы пришли в столовую, только припали к алюминиевым мискам с борщом — на пороге появился прораб Афанасьев и низенький полный слесарь, который чинил с Ленькой транспортер. Афанасьев пошарил глазами по столовой и громко сказал:

— Пал Палыч, идите, пожалуйста, сюда!

## Глава одиннадцатая

„КАЙСЯ, НИЧТОЖЕСТВО!..“

Пришло утро, а потемки в моей душе не рассеялись. Каждую минуту я ждал, что Пал Палыч подойдет ко мне, тряхнет за шиворот и скажет:

«Признавайся, ты разбил шестеренку?»

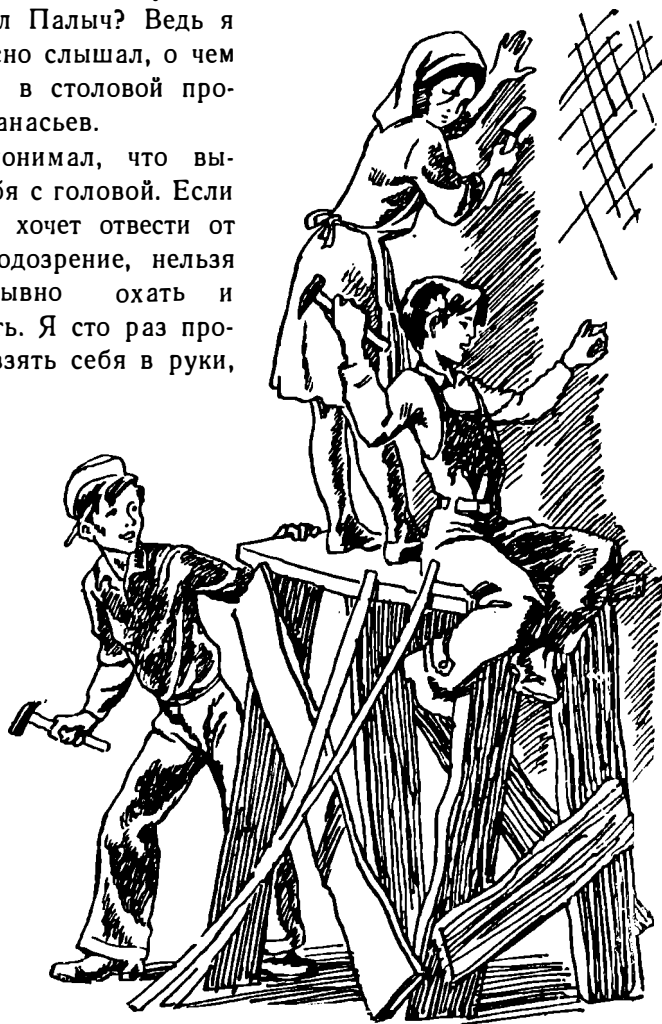
Но Пал Палыч не проявлял никаких решительных действий. Только однажды подозрительно посмотрел в мою сторону и тут же отвел глаза.

Работа не шла на ум. Молоток не слушался руки,

гвозди гнулись и влипали в дранку, как горбатые червяки. Подошел Ваня. Покачал головой, взял клещи и начал один за другим выдергивать гвозди и бросать на пол.

Большая беда заслоняет собой все остальное. Я взял молоток и снова начал как попало колотить по гвоздям. Сейчас меня не интересовало ничто на свете, только шестеренка. Почему молчит Пал Палыч? Ведь я прекрасно слышал, о чем говорил в столовой про-раб Афанасьев.

Я понимал, что выдаю себя с головой. Если человек хочет отвести от себя подозрение, нельзя непрерывно охать и вздыхать. Я сто раз пробовал взять себя в руки,



но из этого ничего не получилось. У меня в середине что-то расклеилось и теперь не желало склеиваться и ложиться на свое место.

Я попробовал еще раз исправить ошибку и стал напевать на весь дом песню. Раньше в обществе я не пел. В школе кто-то пустил слух, будто у меня козлиный голос. Меня гнали из школьного хора и почему-то даже не разрешали показывать на сцене фокусы. Вы сами понимаете, что голос тут совершенно ни при чем.

Все обернулись и стали смотреть на меня, будто на сумасшедшего. С третьего этажа спустился Ленька Курин. В руке у него был молоток, за ухом лихо торчал карандаш.

— Кого у вас тут режут?— спросил Ленька Курин, хотя прекрасно видел, что тут никого не режут.

За такие остроты надо штрафовать. Странно, что все начали хохотать. Не смеялась только Ира-маленькая. Она наклонилась ко мне и тихо сказала:

— Коля, не надо петь. Они ничего не понимают...

С трудом я дотянул до обеда. Поскорее уйти куда-нибудь в тайгу, лечь на траву и забыть про все... Я сидел в столовой и, не разбирая никакого вкуса, запихивал в себя кашу. Кто-то подсаливал, кто-то сыпал для аппетита красный размолотый перец, а я ел просто так, по долгу службы.

В квадратном окошке возникла голова повара в белом измятом колпаке.

— Эй, работники, кому добавки?

Манич, который сидел рядом со мной, встал и отправился за добавкой. Я подумал минутку и тоже пошел к окошку. У человека с чистой совестью должен быть хороший аппетит.

Повар положил черпак жидкой ячневой каши, полил сверху маслом и бросил миску на железный подоконник. Миска завертелась, как волчок, и прыгнула прямо мне в руки.

— Следующий!

Веселый был этот человек, повар.

Удрать в тайгу не удалось. После обеда у нас был тихий час, а потом теория.

Все разделись, легли на кровати и закрыли для виду глаза. Ленька Курин сидел на табуретке возле дверей в роли наблюдателя. Никогда не думал, что у него такие административные таланты.

Я повернулся на правый бок и закрыл глаза. Спать днем я долго не умел и поэтому проснулся скоро. В палатке стоял свист и храп. Ленька сидел на прежнем месте. Сложив руки кренделем, он спал.

Я смотрел на Леньку и думал, что все мои беды идут от него. Если б не Ленька, я бы ни за что не полез под транспортер. Ленька всегда так. Сует свой нос куда надо и куда не надо, а потом отвечай за него... На месте Пал Палыча я бы уже давно сделал какие-нибудь выводы.

Пал Палыч тоже ведет себя очень странно. Подошел бы ко мне и сказал:

«Коля, я знаю все. Правда это или неправда?»

«А кто вам, Пал Палыч, сказал?»

«А то ты не знаешь кто. Конечно, Ленька Курин. Со- знаешься или нет?»

«Теперь я, Пал Палыч, сознаюсь».

«Молодец! Будешь так делать или нет?»

«Конечно, не буду. Вы ж меня знаете!»

Поговорил бы со мной Пал Палыч, и все было бы в порядке. Я человек сознательный и все понимаю.

Но Пал Палыч не хотел разбираться

Где-то возле палатки седьмого «Б» запел горн. Ленька вскочил на ноги, протер глаза и хрипло закричал:

— Подъе-о-м!

Мы повскакали со своих коек, умылись на скорую руку под железным рукомойником и отправились строем на теорию.

Теорию Ваня развел возле наших домов. Сначала

Ваня говорил с выражением и паузами, как на сцене. Но привычка взяла верх. Ваня сорвался с якоря и пошел... Остановить его не было никакой возможности. Мы стояли возле Вани кружком и смотрели ему в рот. Вот это дает!

Заводная пружина у Вани окончилась очень скоро. Он споткнулся раз, другой и забуксовал, словно патефон. Он вытер запотевший лоб рукой и спросил:

— Ну как, братва, понятно?

Со всех сторон дружно посыпалось:

— Понятно! Понятно!

Ваня был польщен. Что ни говори, а благодарный слушатель — редкость.

Ваня прикончил за десять минут всю теорию и начал показывать нам штукатурные приемы — как держать сокол, как набрасывать лопаткой раствор, заглаживать резиновой гладилкой, как проверять штукатурку деревянным уровнем с крохотным живым пузырьком в середине.

Грубые, неуклюжие на вид руки Вани делали все с каким-то нежным изяществом. Ваня не замечал нас, не слышал похвал и завистливых вздохов. Видимо, вот так, ни капельки не думая о славе, поют свои песни лесные птицы.

Пал Палыч тоже любовался Ваней. Если б Пал Палыч был в данный момент учителем, а Ваня учеником, он наверняка отвалил бы ему пятерку с плюсом. Он бы ему все простил: и то, что Ваня трещит, как пулемет, и то, что называет нас братвой... Это ясно, как дважды два.

И все-таки день закончился для меня плохо. Беда, которую я ждал с минуты на минуту, не проскочила мимо, не пронеслась стороной. Случилось это сразу же после теории. Пал Палыч собрал всех нас в кружок и сказал:

— Ребята, мне надо с вами серьезно поговорить.

Началось!

Пал Палыч обходился без вступлений, придаточных предложений и вводных слов.

— На транспортере разбили шестеренку,— сказал Пал Палыч.— Кто это сделал?

В ответ—ни звука. Ребята поглядывали друг на друга и молчали.

Не сказал больше ни слова и Пал Палыч.

Я догадывался, о чем он сейчас думал и что мог сейчас сказать: «Я ждал целый день. Я надеялся, что кто-нибудь подойдет ко мне и честно расскажет. Неужели и теперь не хватает у этого человека смелости? Кайся, ничтожество, я считаю до трех—раз, два, два с половиной... три!»

Но Пал Палыч мог считать с таким же успехом и до тысячи и до миллиона. Я стоял вместе со всеми и молчал. Я понял, что Пал Палыч ничего не знает про меня. А сам я не лезу в петлю. Никогда. Ни за что в жизни!

Минута шла за минутой. Пал Палыч, казалось, уже забыл про нас. Только капельки пота на лбу говорили, что он волнуется и все-таки ждет ответа.

Я не ошибся. Расчет у меня был точный. Пал Палыч ничего не знал про меня. Он посмотрел вдруг на всех нас прищуренными, темными от злости глазами и сказал:

— Тот, кто разбил шестеренку, стоит сейчас здесь. Он трус и ничтожный человек. Пускай знает, я ненавижу его. Все, можно разойтись.

Пал Палыч раздвинул круг руками и, прихрамывая, пошел к палатке. Ира-маленькая побежала за Пал Палычем, но скоро вернулась. Пал Палыч не желал говорить с ней.

Ну при чем же тут Ира-маленькая! Что он себе думает, этот Пал Палыч!

Никто не строил нас в колонну, никто не давал звонких, по-военному четких и строгих команд. Мы постояли еще немного и молча побрели домой.

И только возле палаток всех прорвало. Поднялся такой шум и гам, что мне снова стало страшно. Если ребята узнают правду, мне—капут. Я ходил от одной кучки

к другой, слушал, о чем говорят ребята и как развиваются события. Ребята старались перскричать друг друга, завладеть общим вниманием, продвинуть свою идею. В смысле идей и догадок недостатка не было. Их тут же отвергали, высмеивали и высказывали другие, такие же дикие и нелепые. Кто-то даже сказал, будто шестеренку разбил мстительный прораб и теперь сваливает все на других.

Несколько раз называли в толпе имя Леньки Курина. Одни проводили прямую параллель между Ленькой и шестеренкой, а другие лезли за него в драку, говорили, что Ленька трепач, но подлости никогда не сделает. Ленька человек честный, порядочный и так далее и тому подобное.

Ленька не принимал участия в разговорах. Он сидел в палатке и читал какую-то книгу. Это было глупо. Зачем выделяться из толпы и навлекать на себя подозрения!

Шум то стихал, то подымался снова. Причин для этого было больше чем достаточно. Вечером Пал Палыч не пришел в столовую. Парламентеры вернулись ни с чем. Пал Палыч объявил нам бойкот.

Перед самым отбоем ко мне подошел Манич. Лицо у него было как у человека, который только что подглядывал в щелку,— ехидное и в то же время трусливое: а ну дадут по шее!

Манич отвел меня за палатку и зашептал на ухо:

— Коля, шестеренку разбил Ленька Курин.

— Врешь,— сказал я.— Ленька не разбивал!

— Разбивал!

— А я тебе говорю, не разбивал! Я сам...

— Чудак ты,— перебил меня Манич,— «разбивал, не разбивал»! Ленька ходил к Пал Палычу и сам все рассказал. Я сам стоял за деревом и сам все слышал.

Это было похоже на правду. Манич умел подслушивать. Тут он мог дать фору кому хочешь.

— А ты что — рад? — спросил я Манича.

— Конечно, рад... то есть не рад. Теперь все знают, какой этот Ленька. Правда, Коля, как ты думаешь?

Манич задавал мне один вопрос за другим и между тем совсем не ждал и не слушал ответов. Он все распланировал, взвесил и решил Ленькину судьбу: разрисовать Леньку в стенгазете, написать Ленькиному отцу, исключить из пионеров, выбрать другого старосту. Кандидатуру на старосту Манич не назвал, но тонко намекнул, что знает одного очень деловитого и масштабного человека. Если этот человек не возражает и будет с ним дружить, то он будет голосовать за него руками и ногами.

Манич вывалил все свои конструктивные предложения и задал мне последний вопрос, согласен я с ним или не согласен. Да или нет?

Я посмотрел в упор на Манича и сказал:

— Нет. Леньке этого мало! Надо вырвать ноздри щипцами, снять скальп и повесить на лиственнице.

Манич от удивления поперхнулся и сразу стал заикой:

— Т-ты ш-ш-утишь?

Я был слабый человек. Ребята били меня за трусость, отрывали на рубашке за здорово живешь пуговицы, а однажды поймали и нарисовали чернилами синие усы. Но сейчас я был сильнее всех на свете. Я сжал до боли кулаки и бросился на Манича.

— Уходи от меня, вонючка!

Манич скакнул в сторону и с криком помчался по улице поселка.

## Глава двенадцатая

### „ДВА БУЛЬДИ-ДВА“

Никак не пойму, что за человек этот Ленька. Даже несчастье идет ему на пользу. После истории с шестеренкой все стали относиться к нему еще лучше, чем



раньше. Одни смотрели на Леньку, будто на героя, другие — будто на больного, которого нельзя обижать и волновать всякими пустяками.

Ленька остался на своих постах. Никто даже не собирался исключать его из пионеров и писать письмо родным. Наверно, это было потому, что отец Леньки применял телесные наказания. Несмотря на все недостатки, ребята были у нас неплохие люди.

Многое тут шло и от Пал Палыча. Утром Пал Палыч был у нас в палатке. Он проверил, как мы застилаем койки, а потом остановился возле Леньки и сказал:

— Леня, надо выпустить стенную газету. Я вижу, кое-кто у нас разболтался.

Про самого Леньку Пал Палыч никакого намека не сделал. Это, пожалуй, правильно. Леньку уже заставляли рисовать на самого себя карикатуру, и путного из этого ничего не вышло. Я думаю, это явление общее, и к Пал Палычу претензий не имею.

Обижает меня другое: почему Пал Палыч называет Леньку Леней, а меня по-прежнему Квасницким? Помоему, у классного руководителя не должно быть любимчиков.

Непонятно мне и поведение Иры-маленькой. Получается так, как будто Ирин друг не я, а какой-то Ленька Курин. В перекур Ира-маленькая подошла ко мне и в самой категорической форме сказала:

— Коля, ты должен помириться с Леней Куриным.

— Почему я должен с ним мириться? — удивился я.

Ира-маленькая оглянулась по сторонам и шепотом сказала:

— Потому, что он благородный человек.

Меня взорвало:

— Если Ленька благородный, шептаться нечего. Надо кричать с трибуны!

Губы у Иры-маленькой вздрогнули. Но она все-таки сдержала себя.

— Я не для них говорю,— сказала Ира.— Они и так знают...

Ленька благородный человек. Я ничего не понимаю. Я хуже всех. Что же это такое? Почему на свете столько несправедливости?

Никто не хочет заглянуть на донышко моей души. Я уверен, там не только черные пятна и кляксы. У меня есть доказательства. В прошлом году я выдрал из дневника листок с двойкой. Отец и мать закрылись на кухне и стали обсуждать это ЧП. Отец был настроен агрессивно. Он кипятился и говорил, что ко мне надо применять точно такие меры, как к Леньке Курину. От позора меня избавила мама. Она знала все мои плюсы и минусы.

— Внутренне он благородный человек,— сказала мама.— К нему надо подходить с особой меркой.

Я до сих пор благодарен маме за это. Внутреннее благородство лучше наружного. Это немножко похоже на внутреннее и наружное лекарство. Человека, который смазал себе лицо наружной зеленкой, видно за сто верст. Проследить, по каким жилочкам растекается внутреннее лекарство, труднее. Это умеют делать только добрые, внимательные и чуткие люди.

Ира-маленькая была добрая, но она находилась под влиянием других. Я ничего не сказал Ире про зеленку. Она могла подумать, что я задаюсь и выпячиваю свои достоинства. Я не хотел ссориться с Ирой из-за Леньки.

Вечером пришла почта, и мне сразу три письма — от мамы, отца и якутского деда.

Самое длинное — от мамы. Это было даже и не письмо, а подробная инструкция, изложенная ласковыми и нежными словами,— как есть, как стирать носки, как одеваться в зябкие дни. В каждом словечке сидела моя мама и смотрела на меня добрыми, немножко грустными глазами.

В письме отца тоже попадались вежливые слова. Но смысл, цвет и запах у них был какой-то совсем другой.

Отец мой, как я уже говорил, человек очень серьезный и по-настоящему, на все сто процентов, меня никогда не хвалит.

Двадцать седьмого января у меня был день рождения. Утром отец пришел в мою комнату, похлопал меня по плечу и сказал:

— Поздравляю, сынок, расти большой и умный.

В этих хороших словах пряталась известная только мне горчинка. Расшифровать ее можно примерно так:

«Я тебя люблю, но ты все-таки перестраивайся. Я, брат, не посмотрю, что ты противник телесных наказаний»...

Писал отец в основном о пиропе. Он просил пойти к оленьему пастуху и там все точно узнать, найден камешек в реке или это вовсе и не камешек, а кусочек стекла. В конце письма отец писал, что у меня легкомысленный подход к делу, и мягко называл меня шляпой. За «шляпу» я не обиделся. Если бы отец знал, как получилось с пиропом, он бы не делал таких поспешных выводов.

Якутский дед написал мне всего несколько строк. Письмо было похоже на пригласительный билет без повестки дня и художественной части. Меня это не смутило. Очевидно, дед не хотел хвастать и заранее расписывать свое пароходство и своих капитанов. Я с этим вполне согласен. Зачем звонить раньше времени? Приеду и сам все оценю. Кто-кто, а я уже повидал звонарей. На словах они и такие и этикие, а присмотришься поближе — сплошная ерунда. Примеров у меня, если хотите, хоть отбавляй.

Как-то зимой в ПГТ появились афиши передвижного цирка. Мы часами стояли возле клуба и, наслаждаясь, читали по слогам: «Огненный человек», «Женщина-невидимка», «Собака-математик», «Два Бульди-два». Целую неделю ребята только и жили цирком. Встретит какой-нибудь мальчишка своего приятеля на улице, загадочно посмотрит на него и как будто бы спросит:

«А ты знаешь новость или не знаешь?»

Второй мальчишка улыбнется и тоже как будто бы скажет:

«Два Бульди-два»! Знаю!!!»

И вот прилетел самолет. На оленьих нартах привезли с посадочной площадки женщину-невидимку, высокого парня с рыжей шевелюрой и черную застенчивую собаку-математика. Кто такой «Два Бульди-два», мы узнали только в клубе. Это был тот же самый рыжий парень. Сначала он пускал изо рта пламя за огненного человека, потом пел частушки за двух Бульди, потом уже неизвестно за кого прятал в фанерный ящик женщину-невидимку. Невидимка послушно исчезала в дыре, которую прорубили в полу, и сидела под сценой, пока закроют занавес.

Выступление собаки-математика отменили. Она упиралась за сценой передними и задними конечностями, визжала и решительно не желала показываться публике. Возможно, она делала это из принципа, а возможно, просто стеснялась. В зале поднялся шум и свист. Больше всех возмущался дед Тимофей, по прозвищу Шпагоглотатель. Сложив ладони ковшиком, он вразяжку кричал на весь зал: «Хал-ту-ра!»— и топал при этом огромными растоптанными унтами.

Я еще раз перечитал все три письма и окончательно успокоился. В голове посветлело и все стало на свое место. Закончится практика, я полечу на самолете к деду и навсегда забуду неприятности, которые устраивают мне здесь на каждом шагу.

Но первым делом мне надо распутать историю с пиропом. Завтра воскресенье, и я, пожалуй, пойду к оленьему пастуху. Если взять напрямик через тайгу, часа за три можно добраться к его юрте. Жаль, нет у меня тут настоящего друга. Но что сделаешь,— раз нет, значит, нет.

Манич несколько раз пытался помириться со мной. У человека нет никакого самолюбия. Его бьют, а он под-

лизывается и виляет хвостом. На месте Манича Ленька поступил бы совсем по-другому. Впрочем, про Леньку я сказал просто так, для сравнения. Ленька — отрезанный ломоть, и возвращаться к этому не будем.

Между прочим, Манич получил сегодня посылку. В огромном ящике, обитом с углов железными скобками, было на вид не меньше пуда. Манич взвалил этот сундук на плечи и немедленно ушел прятать свой харч в тумбочку. Правильно все-таки я назвал этого типа мистером Манчем!

Вечером мы давали для строителей концерт художественной самодеятельности. Неподалеку от Вилюя, на большой, расчищенной от камней и пеньков площадке, рабочие построили из досок сцену. Тут было все как в настоящем театре,— занавес, два электрических фонаря по углам и даже суфлерская будка. Занавес повесили только для порядка, или, как говорил Пал Палыч, для впечатления. Сзади и по бокам сцена была совершенно открытая. Охая и замирая от предстоящей встречи с публикой, там уже толклись наши таланты.

На все мероприятия мы ходим строем, как солдаты или воспитанники детского дома. Исключение было сделано только для концерта. Я пришел заранее и занял место недалеко от сцены. Моими соседями оказались плотник-якут и знакомый мне экскаваторщик в новеньком, помятом в чемодане костюме.

Над тайгой сгушались сумерки. На юру, там, где мы строили новый поселок, вспыхнули, разбросали вокруг себя тонкие серебряные лучики электрические лампы. Где-то в забое урчал, бил зубастым ковшом по камням экскаватор. На верхушке подъемного крана тлел краешный фонарь. Он то загорался, то вновь исчезал, когда кран развертывался и подымал груз. Там работала ночная смена.

Рабочие пришли на концерт разодетые, а некоторые даже при галстуках. Внешне они были совершенно непо-

хожие друг на друга. И все же было что-то общее в этом простом доверчивом свечении глаз, в строгих черточках, которые положила возле губ большая, трудная жизнь. Я невольно перевел взгляд на руки рабочих. Они лежали на коленях легко и спокойно и даже во время минутного отдыха были какими-то убежденными, добрыми, уверенными в своей силе. Такие вот руки и метали из черных окопов гранаты, рубили в подземельях уголь, сеяли золотые хлеба.

Мне казалось, сейчас я тут чужой и лишний. Я строился и слушал концерт через пятое на десятое. Плотник-якут по-мальчишески толкал меня под локоть и восхищался:

— Гляди, Колян, чего делают! Ты гляди!..

Он яростно аплодировал после каждого номера и даже топал от радости и восторга ногами. Порой мне тоже хотелось быть на сцене с нашими артистами. Я мог показать строителям и моему теперешнему соседу-плотнику фокус со спичками и загипнотизировать настоящего живого петуха. Дома я тренировался миллион раз. Если петуха долго гладить по шее и смотреть прямо в глаза, он не выдержит и уснет.

После концерта плотник провожал меня домой. Возле палатки он долго не выпускал мою руку из своей, называл Коляном и приглашал к себе в гости. Я простился с плотником и ушел в палатку. На душе у меня было беспокойно, и почему-то хотелось плакать.

Моя жизнь в тайге очень похожа на замкнутый треугольник: палатка — столовая — работа. Самый неприятный уголок этой геометрической фигуры — палатка. Тут я больше всего чувствую одиночество и несправедливость. Раньше я был абсолютно нормальный человек. Лег на кровать, подоткнул одеяло под бок и будь здоров — сплю до самого утра. В тайге у меня все пошло шиворот-навыворот. Все уже давно спят, а я лежу в темноте со своими невеселыми мыслями.

Сегодня после концерта и разговора с плотником я снова не могу уснуть. Лежу и думаю о плотнике и Ленке, который был на концерте ведущим. Масштабный человек Ленка или нет? Я долго мусолю этот вопрос, перевертываю его на бок, ставлю на попа. Но все равно получается одно и то же — Ленка гоняется за дешевой славой и популярностью. С шестеренкой для меня тоже абсолютно все ясно. Если бы Ленка сам разбил шестеренку и сам признался, тогда, конечно, дело другое. Но своих собственных ошибок и недостатков Ленка не признает. Это доказано давно. За других я не ручаюсь, но меня Ленка вокруг пальца не обведет. Знаем мы этот якутский метеорит № 11

Я поставил последнюю точку над своими сомнениями и спросил сам себя:

«Ну что, Колька, спать?»

«Спи, совсем измучил меня, дурак!»

Я подтянул к груди одеяло, выпустил руки наверх, как рекомендуется в брошюрке про здоровый и полезный отдых, и закрыл глаза: «Адью!»

Но тут я услышал в тишине какое-то тихое, осторожное чавканье. Что такое?

Сначала я подумал, что это забежал в палатку бурндук и теперь, пользуясь случаем, жует в темноте какую-нибудь корку. Я заглянул под кровать, но там, кроме ботинок и рюкзака, ничего не было. Может, мне просто-напросто послышалось?

Я притворился на всякий случай спящим. Лежал и ловил ухом каждый шорох. Прошло несколько минут, и где-то совсем рядом снова зачавкало. Я повернул голову налево, повернул направо и все понял. Чавкал Манич. Он накрылся с головой одеялом и там, уединившись от всего мира, истреблял свои сдобные коржики. Стихает на минутку, передохнет и снова жует.

Я растерялся от такого сюрприза. Что тут делать — пнуть Манича ногой, стащить одеяло, назвать паразитом?

Ругательства и кулаки у нас в классе были не в моде. Убить человека словом можно лучше и вернее, чем кулаком. Жаль, что теперь не устраивают состязаний по остроумию. Наш класс наверняка отхватил бы лавровый венок или какой-нибудь другой приз. Не зря в школе все говорили — с нашим классом лучше не связываться.

Я подождал минутку и, когда Манич снова начал жевать и причмокивать, негромко, но очень вежливо спросил:

— Манич, что ты делаешь, пленку под одеялом проявляешь?

В палатке повисла тишина. Согнувшись кренделем, Манич лежал в своей тайной столовой и не дышал. В один миг я представил и его выпученные глаза, и перекосенное от неожиданности лицо, и застрявший в зубах коржик.

Я рассмеялся. Я победил и больше ничего не желал.

## Глава тринадцатая

### В ЮРТЕ

Все дело испортила Ира-маленькая. Она догнала меня на краю поселка и спросила:

— Коля, куда ты идешь?

Я сказал первое, что пришло в голову:

— За цветами.

В глазах Иры засияли два крохотных черных солнышка. Я сразу понял, что дал маху. Теперь от Иры не отвертеться.

Так оно и получилось.

Ира-маленькая заправила за уши свои черные, вечно спадавшие на щеки волосы и вприпрыжку пошла за мной.

— Идем, я знаю, где цветы.

Только этого мне и не хватало!

Если я не успею вернуться к обеду от пастуха, Пат



Палыч снова будет задавать различные вопросы и придираться ко мне.

В принципе цветы я люблю. Но в школе об этом лучше не заикаться. Мальчишки утверждают, будто масштабные люди выше цветов и прочих предрассудков. У нас в школе всех до одного расставили по полочкам — кто масштабный, а кто нет.

Масштабный у нас директор школы Григорий Антонович, наш Пал Палыч и еще учитель математики Федор Иванович. Таисия Андреевна и Зинаида Борисовна стоят на другой полочке. Они — не масштабные. С завучем, по-моему, поторопились. Таисия Андреевна всю жизнь работает в школе. У нее много питомцев. Есть летчики, капитаны, инженеры и, говорят, даже один писатель.

Никаких критериев и оценок в школе для масштабных людей нет. Все определяется на глазок. Пал Палыча считают масштабным, а он, между прочим, любит цветы. Весной Пал Палыч приходит в школу с букетиком жарков и дарит, кто ему понравится. Однажды я получил по труду пятерку, и Пал Палыч отдал букетик мне. Всю дорогу я нес жарки в кармане и дома переподарил маме.

Был еще и такой случай. Это помнят все. На Первое мая Пал Палыч принес в школу огромный букет багульника, который специально распускал в кувшине с водой. Пал Палыч подошел к Таисии Андреевне и сказал: «Примите, это вам!»

Таисия Андреевна спрятала свои седые волосы в цветы и заплакала. Нам всем было ее очень жаль. По-моему, тут несправедливость. Надо сделать Таисию Андреевну масштабной хотя бы наполовину.

И вообще в цветах нет ничего плохого. Когда Ира-маленькая тоже будет седая, я принесу ей букет и скажу: «Примите, это вам». Пускай Ира-маленькая знает, кто я такой и как я к ней отношусь.

Но сейчас у меня была только одна мысль: поскорее набрать цветов, отделаться от Иры и махнуть коленному

пастуху. Что тут разводить тары-бары! Пучок оттуда, пучок отсюда, и ваших нет.

Собирать цветы мы начали прямо на опушке. Вокруг березок цвели белые островки ромашек; поднявшись в полный рост из травы, скликал мохнатой шапкой полосатых ос иван-чай; дотлевали последние жарки. И только багульник стоял меж цветов горюн горюном. Видно, еще совсем недавно налетел в эти места низовой ветер, сорвал с веток фиолетовые лепестки и унес за Вилюй. Потому и небо сейчас за рекой чуточку голубее, чем везде.

Я набрал минут за десять огромную охапку цветов и крикнул Ире:

— Пошли, что ли? Вон у меня сколько!

Ира-маленькая улыбнулась в ответ и снова склонилась над каким-то цветком. У меня еще сильнее заскребло на душе. Все мои планы летели вверх ногами. Пока Ира соберет свой букет, как раз к обеду затрубят.

Объяснять Ире, куда мне надо идти, глупо. Если я скажу, что потерял пироп, получится, что я шляпа; если намекнуть на Манича, Ира не поверит. Какие у меня доказательства?

Самое верное дело — уликнуть от Иры. Ушел за одно дерево, за другое — и ходу. Потом можно что-нибудь придумать и оправдаться. Ира тут, конечно, не заблудится. Вон — Вилюй, а вон и наш поселок. Раз-два — и там.

Сначала я пятился от дерева к дереву, потом развернулся на сто восемьдесят градусов и нажал на все педали. Вперед!

Тайга становилась все плотнее. Вокруг стояли теперь лишь сосны да высокие, такие, что не добросишь камнем, лиственницы. Березки убежали из темноты на поляны пошептаться с ветром, вырастить в тепле смуглый, с бархатной подкладкой подберезовик. Лишь кое-где росли меж деревьев кусты черемухи да колючий, вцепившийся насмерть в землю шиповник.

Я остановился. Надо оглядеться, куда занесли меня

мои ноги. Ага — справа поблескивает Вилюй, чуть слева — дорога, по которой мы недавно пришли в поселок, а вот он я. Придется взять еще левее, срезать уголок, и тогда все будет в порядке.

Летом в тайге броди сколько хочешь. Никто не тронет. Другое дело зимой. В пору, когда трещат и с грохотом раскалываются от стужи деревья, обидчиков в тайге хоть отбавляй. Но хуже всего, пожалуй, встретить медведя-шатуна. Все косолапые спят в берлогах без задних ног, а он бредет по лесу, раскачивая из стороны в сторону лохматой, тяжелой от бессонницы головой. Настигнет человека, ударит лапой по чему попадая — и точка. Кричи не кричи — пощады все равно не будет.

Вскоре мне попалась тропка. Видимо, совсем недавно шел по ней к Вилюю с ружьишком за плечом охотник. Вот тут, на этом растрескавшемся вдоль и поперек пеньке он курил, а вот сорвал масленок, потрогал пальцем тугую, как мяч, шляпку и положил у тропы: «Ты меня извини, гриб, я за тобой в другой раз приду».

Нет на свете ничего милее таежной тропки. Давно смолкли за деревьями чьи-то торопливые шаги, но ты уже не чувствуешь одиночества и тоски. Тайга с этой тропкой вмиг становится тебе пригожей и доступной.

Но с тропкой мне пришлось расстаться. Она свернула влево, а мне надо прямо. У тропки свои дела, у меня — свои. Солнце светило уже над самой головой. Надо тропиться.

Я прошел еще километр или два и уперся прямо в рыжий сухой торфяник. Казалось, лес в этих местах прочесал своими гусеницами огромный трактор. Деревья стояли как попало: одно качнулось вправо, другое — влево, а третье, крикнув, свалилось на землю.

«Эге-ге! — сказал я сам себе. — Тут надо глядеть в оба!»

Один раз, когда мы ходили с отцом белковать, я чуть-чуть не затесался в такой пьяный лес. Деревья па-

дают тут не просто так. Валит их набок подземный огонь, который живет в торфянике, будто в печке. Прошумит в одночасье по тайге пал, выжжет до черноты траву и стихнет где-нибудь в сыром холодном распадке. И только в торфянике подолгу сидит, подгрызает корни деревьев своими острыми зубами огонь. Порой и зазимует там под белой снежной шапкой. Попадешь в такое пекло — пощады не проси.

Я обогнул торфяник и снова пошел вперед. Еще немножко, еще чуть-чуть — и за деревьями снова блеснет Виллой, и я выйду как раз к тому месту, где мы разводили свой пионерский костер. Хорошо все-таки возвращаться на старые места. Там все твоё — и холмик, на котором хлебал из котелка пшеничную кашу, и пчела, которая кружила возле твоего носа, и крохотный уголек из костра.

Но что это, почему так долго не показывается Виллой? Я остановился на минутку и стал думать: «Сначала я шел прямо, потом свернул влево, потом обогнул болото и снова взял напрямик». Хорошо, подумаем еще раз: «Вот у меня левая рука, вот — правая... Да нет, все в порядке. Дуй вперед, Колька!»

Мама всегда говорила, что у меня сложная и заковыристая натура. Я сам пытался разобраться, кто я такой и почему на меня валятся со всех сторон шишки и камни. В отношении сложности мама, по-моему, права. Где-то в середине меня живут совсем рядом трусость и легкомыслие. Трусость у меня врожденный порок, а легкомыслие перешло, как грипп или коклюш, от Леньки Курина. Тут нет ничего странного. Попробовали бы вы дружить с Ленькой столько, как я!

Чего мне стоила дружба с Ленькой Куриным, я понял лишь тогда, когда окончательно запутался в тайге. Я не хочу рассказывать об этом. Надо снова вспоминать, как я метался от одного дерева к другому, плакал и звал кого-то на помощь. Когда я слышу про всякие

ужасы и трагедии, я весь сжимаюсь от страха. Мне хочется, чтобы и в жизни и в книжках, которые я очень люблю читать, все заканчивалось радостно и хорошо. Не знаю, может, я и не прав. Но что я могу сделать, если я такой гуманный и внутренне благородный человек!

Спас меня совсем случайный случай. Я кружил по тайге как шальной и вдруг увидел тропку. Ту самую, которую легкомысленно бросил еще в начале пути. Милая, дорогая тропка! Она вывела меня из тайги, а затем, когда самое страшное осталось уже позади, простилась со мной и навсегда исчезла в мелких приречных гольцах.

Конечно, кое-кто мне не поверит. Расскажи про это Леньке Курину, он сразу станет на дыбы: «Мурá! Такой конец бывает только в сказках: «Берут невесту за белу рученьку и целуют в сахарны уста!»»

У нас в классе я лучше всех знаю Леньку. Если бы я сгорел в торфянике или попал в брюхо медведя, Ленька сказал бы: «Вот это класс!»

Тропка привела к тому месту, где мы жгли костер. Только Вилей оказался не с правой руки, а с левой. Я дал огромный крюк и пришел к цели совсем с другой стороны.

Солнце уже катилось к западу. Тень от берега захватила половину реки. В тальниках задумчиво и грустно крикали утки. Только сейчас я понял, что устал и хочу есть. Но являться в гости вот таким было неудобно. Я вымыл руки и лицо, прикрепил булавкой клочок рукава, застегнулся на все пуговицы и пошел к оленьему пастуху. Будущее меня не тревожило. Я выпрошу у пастуха про камешек, узнаю короткую дорогу — и в путь. Вполне возможно, якут уважит и даст мне верхового оленя. Деловые люди найдут общий язык.

Я открыл дверь, улыбнулся от радости и расправившего меня счастья и громко сказал:

— Капсер, дагор!

Юрта была пуста. Возле окошка лежал вверх ногами круглый табурет, в углу стоял, как ружье, старый, треснувший на макушке хорей. Я кинулся из юрты, стал кричать на всю тайгу:

— Эге-е-й! Эге-е-й!

Но нет, не звенел колокольчик на шее оленя-вожака, не слышалось в ответ глухого надсадного бреха собак. Олений пастух угнал стадо в другие места. И не скоро теперь войдет он в юрту, подымет трехногую табуретку и протрет рукавом кухлянки пыльное стекло. Лишайник, до которого так падки олени, растет очень медленно. Подыдется за короткое теплое лето на три-четыре миллиметра — и шабаш. Нету ему больше ходу до следующей весны.

Я стоял возле юрты и с тоской смотрел на темную, притихшую к ночи тайгу. В голову снова полезли глупые, дикие мысли. Теперь я ни за что не найду обратную дорогу. Придется жить в тайге, питаться, как снежный человек или древняя обезьяна, о которой рассказывала на пятиминутке Зинаида Борисовна.

Лет через пятнадцать, а то и двадцать вновь зазвонит в этих местах колокольчик оленя-вожака. Олений пастух с опаской глянет на бородатого, оборванного мужчину с голубыми глазами и черными как уголь волосами и скажет:

«Капсе, дагор!»

«Эн капсе! Рассказывай ты. Ничего я не знаю. Даже то, что раньше знал, и то забыл».

«Худо твоё дело,— скажет олений пастух.— Однако, поехали. Нечего мне тут с тобой...»

Запряжет пастух в нарты оленей и помчит в ПГТ. Там уже настроят и фабрик, и заводов, и новых школ, и кафе-мороженых. Возможно, это будет уже и не ПГТ, как раньше, а самый настоящий город.

Прикатит пастух на Большую Садовую, затормозит ногой нарты и спросит:

«Тут, однако, твоя изба, гражданин Квасницкий?»

Соберется толпа. Шум. Споры. Не каждый же день привозят из тайги такое чудо. Придет, конечно, и Шпагоглотатель Тимофей. Он любит общество и веселые разговоры. Дед Тимофей затешется в круг и глянет на меня через головы:

«Кого тут привезли? Обрати «Два Бульди-два?»»

Вокруг зашипят:

«Тише ты! У человека горе, а ты остришь!»

Ребята к той поре давно закончат и школы и институты. Только мне придется снова ходить в седьмой, а может быть, даже в шестой класс, потому что я все пере-забыл и вообще дошел в тайге до ручки...

Голод загнал меня в юрту. Пастухи, так же как и охотники, оставляют порой харчишки для незнакомого друга. Кто — ломоть вяленой медвежатины, кто — банку тушенки, а кто по бедности — горстку пшена и табаку на завертку. Я обшарил юрту и нашел в углу за полатями в кожаном мешочке сухую рыбину и пяток черных скрюченных сухарей.

После еды на душе у меня немного полегчало. Может быть, я зря вешаю нос и дело не такое уж страшное, как мне это кажется. Во-первых, не сегодня-завтра вернет сюда на ночевку охотник, а во-вторых, можно и самому добраться до поселка. Не надо срезать углов и лезть в тайгу. Пойду завтра по берегу Вилюя, и все будет в порядке.

Вот же чужак!

На тайгу надвигалась ночь. Одна за другой угасли за окном березки. Только в крутой, скрытой наполовину кустарником излучине Вилюя дымилась горстка света. Где-то всходила луна.

Я закрыл деревянной задвижкой дверь и забрался на полати. Затаив дыхание лежал на голых досках и слушал ночные шорохи. В тайге коротко твякнула, будто ей наступили на лапу, лисица, пискнула спросонья гор-

боносая кедровка, по вершинам деревьев пробежал и примолк вдалеке гулевой ветерок.

И вдруг совсем рядом с юртой раздался негромкий тоскующий вой: «У-у-у-у!» Это был волк. Он еще не скликал свою стаю, а только раздумывал и еще в чем-то сомневался и советовался с самим собой. От страха у меня отерпла на голове кожа. Подбежит сейчас серый к окну, трахнет башкой по стеклу, и все. Адью, Квасницкий, прощай, масштабный человек!

Говорят, перед смертью люди каются в грехах и милостиво прощают близких. Призовет такой человек к своей постели дружков-приятелей, грустно посмотрит на них и скажет умирающим шепотом:

«Поскольку мне все равно какую, я признаю свои ошибки. Не поминайте, братцы, лихом».

Слушая завывание волка, я тоже каялся в своих грехах. Я мало прожил на свете, но уже натворил много неприятных и позорных дел: хватал двойки, потому что любил спать и не любил работать, вырывал из дневников листы, грубил учителям, сваливал свою вину на других и особенно на своего лучшего друга Леньку Курина. Теперь, когда шли последние минуты моей жизни, я понял, что Ленька в самом деле был хорошим человеком. Он выручал из беды товарищей и горой стоял за справедливость и крепкое мальчишеское братство. Ленька, товарищи, это был Ленька!

Я не хочу ничего преувеличивать и хвалить себя в эти трагические и ужасные минуты. Видимо, у меня тоже есть какие-то недостатки... Если волк передумает и я уцелею, я буду жить совсем по-другому. Я приду к Пал Палычу и честно, без утайки, скажу ему:

«Пал Палыч, накажите меня. Я трус и ничтожная личность. Ленька Курин не виноват. Я сам разбил шестеренку...»



## Глава четырнадцатая

### НИГИЛИСТ

В хороших книжках все заканчивается благополучно. Я уже говорил об этом. Если какой-нибудь писатель вздумает писать книжку про меня, он останется доволен. Со мной меньше хлопот. Не надо вытаскивать из горящего торфяника, подглядывать, как закусывает мною волк. Не надо слез, траурных маршей и цветов, которые я в принципе люблю.

Первобытной обезьяны и снежного человека из меня не вышло. Тучи рассеялись, и добро взяло верх над злом. Точнее: утром возле юрты слышались громкие голоса. Я вскочил с полатей, протер заспанные глаза и увидел

в окошке ребят. Впереди всех стоял Ленька Курин, а возле него плотник-якут, который недавно подарил мне настоящий гвоздь.

Через две минуты я знал все. Вчера Ира-маленькая прибежала из тайги в поселок и подняла трам-тарарам. Ира сказала, что я заблудился в тайге или вообще сбежал в неизвестном направлении.

После обеда ребята отправились на поиски. Они обшарили все вокруг поселка и, конечно, вернулись ни с чем. Ночью в поход отправились с фонарями и факс-



лами строители, а утром Пал Палыч снова поднял ребят. Пал Палыч повел седьмой «Б» к торфяникам, а Ленька и якут-плотник отправились сюда. По глазам Леньки я видел, что он очень доволен. Теперь Ленька будет говорить, что спас меня, вырвал из лап смерти, и так далее.

Ликований при встрече не было. Ребята устали и, главное, думали, что я спасовал перед трудностями и дезертировал со стройки. Мне было обидно. За кого они меня принимают!

Ленька снова делал вид, будто он самый старший и самый главный. Ребята сели отдыхать, но Ленька тут же поднял всех на ноги.



— Пошли,— сказал он,— а то мы из-за этого дурака на работу опоздаем.

Счастье Леньки, что вокруг было много свидетелей. Если бы Ленька был один, я бы не посчитался с его самолюбием. Я бы сказал Леньке такое, что он бы сразу скис.

Подозрительно смотрел на меня почему-то и якут-плотник. Когда мы выбрались на тропу, он тронул меня за рукав и тихо, так, чтобы никто не слышал, спросил:

— Ты, однако, куда убегал, Колян?

Возможно, плотник был сейчас для меня самым дорогим и близким человеком в поселке. Но все равно я не мог открыть ему всю душу, рассказать про Манича и пироп.

— Видите,— сказал я,— тут замешан один человек. Но я еще сам не знаю, замешан он или не замешан. Если он замешан, тогда я все расскажу. Вы меня понимаете?

Плотник шевельнул черными густыми бровями, но мне ничего не ответил. Похоже, он не поверил. Это было обиднее всего. Если он про меня так думает, пускай забирает свой гвоздь. Мне жалко, но что я могу сделать!

Я шел вслед за ребятами и ругал себя. Зря я все-таки поторопился и сделал Леньку хорошим человеком. Ленька типичный эгоист и думает только о себе. При всех ребятах он называл своего лучшего друга дураком. Я ему никогда этого не прощу!

Про шестеренку Пал Палычу тоже рассказывать не буду. Конечно, я давал клятву, когда возле юрты тянул свою поминальную песню серый. Но это ничего не значит. Тогда была такая обстановка, а теперь совсем другая. Я не мог предвидеть всего.

До обеда работать почти не пришлось. Пока переоделись, пока то да се, затрубил горн, и мы отправились в столовую. На стене, как раз напротив моего стола, я увидел плакат. На длинной бумажной полоске красными буквами было написано: «Кто не работает, тот не

ест». Я сразу узнал Ленькин почерк. Никто не умел в классе вытягивать так залихватски крючок на букве «К».

Плакат ни капельки не испортил мне аппетита. Я нажимал на борщ и кашу. Прежде чем упрекать человека и швырять в него камнями, надо все продумать и все взвесить. Если бы Ленька был умнее, он бы понял это сам.

Пал Палыч не допрашивал меня и вообще после моего возвращения не сказал мне ни слова. Ребята сообщили Пал Палычу, что у меня какой-то секрет и я молчу как рыба. Пал Палыч сразу охладил горячие головы. Он сказал ребятам, чтобы они не лезли ко мне с вопросами и вообще оставили меня в покое.

Пал Палыч всегда говорил нам: «Терпение, терпение и еще раз терпение». Но сейчас я видел, что Пал Палыч изменил этому правилу. Он то и дело поглядывал в мою сторону и как будто бы говорил:

«Ты, Квасницкий, молчи, да не очень. Терпению моему подходит конец. Так-то, брат!»

После обеда Пал Палыч нарочно задержался в столовой и вышел вместе со мной последним. Кто на кого первый посмотрел, я не помню,—я на Пал Палыча или Пал Палыч на меня.

«Ну что?»—спросил меня Пал Палыч взглядом.

«Да так себе, ничего...»

Но Пал Палыч уже не отступал от меня, смотрел на меня в упор и спрашивал:

«Кончим молчанку, Квасницкий, или не кончим?»

У меня не было другого выхода — или подойти к Пал Палычу, или тут же бежать от него куда глаза глядят.

Случилось то, чего ждал Пал Палыч и чего боялся я. Я подошел к Пал Палычу и, запинаясь, сказал:

— Пал Палыч, мне нужно с вами серьезно поговорить...

Когда человек начинает какое-нибудь дело, он надеется на самое лучшее. Иначе зачем заваривать кашу?

Я думал, все будет так: Пал Палыч возьмет меня за плечо и скажет:

«Пойдем, Коля. Сейчас мы с тобой все утрясем. Ты только не волнуйся. Идеальных людей на свете нет».

«В самом деле нет, Пал Палыч?»

«Чудак! Если хочешь знать, я тоже иногда ошибаюсь. Главное, не закрывать глаза на недостатки. Ты не закрываешь?»

«Что вы, Пал Палыч, конечно, нет!»

«Тогда разговор на этом закончим. Можешь считать, что двойку по поведению я поставил в дневник, а журнал чистый. Понятно?»

Возможно, я что-то не рассчитал или Пал Палыч был не в духе, но разговор у нас получился совсем другой. Собственно, и разговора не было. Пал Палыч вынул из кармашка часы на медной цепочке, щелкнул крышкой и сказал:

— Приходи ко мне через час в палатку.

Пролетел в раздумьях и тревогах час, и я пошел к Пал Палычу. Я уже говорил, что где-то внутри меня жили рядом трусость и легкомыслие. Легкомыслие толкнуло меня на разговор с Пал Палычем. Теперь оно стояло в сторонке, смотрело на черную горбатенькую трусость и ехидно хихикало:

«Иди-иди! Посмотрим, что из этого выйдет!»

Я долго думал о встрече с Пал Палычем и решил, что расскажу ему только про шестеренку. Транспортёр уже починили. Слесарь нашел на складе шестеренку, и теперь все было в порядке. Не вешать же меня из-за этой глупой шестеренки! Если Пал Палыч спросит меня, почему я удрал в тайгу, я скажу ему:

«Пал Палыч, пока это секрет. Но потом я вам расскажу. Вы же видите — я человек честный».

Пал Палыч, конечно, согласится. Он понимает, что секрет — это секрет.

Я тихонько постучал в дверь и вошел в палатку. Пал

Палыч сидел возле стола и переписывал что-то из толстой, мрачной на вид книги.

— Садись,— сказал Пал Палыч.— Я сейчас.

Я сел на скамейку и краешком глаза посмотрел на книжку. Это было «Штукатурное дело», по которому преподавал теорию инструктор Ваня.

Неужели Пал Палыч тоже хочет получить разряд?

Пал Палыч продолжал писать. Он был высокий и поэтому всегда горбился и чувствовал себя неловко за столом. Видимо, поэтому он всегда стоял в классе возле окошка или ходил взад-вперед около доски.

Пал Палыч родился на Украине. Где-то в селе возле Днепра жили и теперь его брат и сестра. Два года назад Пал Палыч получил от них письмо, затосковал и решил навсегда уехать на родину.

К дому Пал Палыча пригнали две упряжки. Одну для чемоданов и книжек, а другую для него самого. Никто не объявлял, когда уедет Пал Палыч, но проститься с ним пришел весь наш класс. Пал Палыч вышел из дому в своей огромной дохе и таких же огромных рукавицах. Он увидел нас и вдруг тяжело, будто провинился в чем-то, опустил голову. Он долго стоял вот так, а потом махнул рукой и сказал:

— Ребята, помогите мне внести обратно чемоданы...

Пал Палыч окончил писать. Он отложил в сторону тетрадку и посмотрел на меня внимательными, чуточку прищуренными глазами:

— Рассказывай, я слушаю.

Я знал, что Пал Палыч не любит предисловий и сразу обрывает того, кто размазывает кашу. Бить отбой было уже поздно. Я все равно погиб. Пускай будет, что будет.

— Пал Палыч,— сказал я.— Ленька не виноват. Шестеренку разбил я.

На лице Пал Палыча не дрогнула ни одна жилка. Он все так же спокойно и строго смотрел на меня и мол-

чал. Я подумал, что Пал Палыч не расслышал или не понял меня, и снова сказал:

— Пал Палыч, это я разбил шестеренку!

Пал Палыч взял тетрадку, вложил в «Штукатурное дело» и похлопал книжку рукой. Он уже начинал нервничать.

— Я знаю, что разбил ты,— сказал Пал Палыч.— Что дальше?

Я ошалело глянул на Пал Палыча: «Не может этого быть. Об этом не знает никто!»

Пал Палыч, видимо, понял меня без слов.

— Зря сомневаешься,— сказал он.— Про вора и шапку, надеюсь, слышал?

— Слышал,— неохотно ответил я.— Разве на мне шапка горела?

— Горе-е-е-ла!— убежденно сказал Пал Палыч.— Я, Квасницкий, все помню: как песни ни с того ни с сего пел, как добавку у повара просил. Ведь ты же не хотел есть. Правда?

Я молчал. Пал Палыч знал все и вопросы задавал только для того, чтобы еще раз проверить себя. Ковырнет вопросом и снова раскладывает меня на обе лопатки.

Пал Палыч ничего не спросил меня про мой побег. Очевидно, он провел прямую линию между шестеренкой и побегом, решил, что я испугался разоблачения и поэтому дал стрекача.

Мне было неприятно, что Пал Палыч такого невысокого мнения обо мне, но помалкивал. Придет время, и Пал Палыч сам узнает, какой я есть на самом деле.

Пал Палыч раздела меня под орех. Он немного сгустил краски, но кое-что отразил объективно. Мне даже стало противно смотреть на портрет, который он нарисовал. Может, я и в самом деле закрываю глаза на свои недостатки?

— Пал Палыч,— сказал я,— я виноват. Пускай меня проработают на сборе и разрисуют в стенгазете.

— Нет, Квасницкий, это не годится. Я уже думал... Ребята тебя не простят. Не могу я им сказать: «Дружите с Колей Квасницким. Он хороший мальчик». Они не слепые. Сами видят...

Пал Палыч открыл «Штукатурное дело», согнул над столом свои широкие сутулые плечи. Я прекрасно видел — Пал Палыч смотрит в книжку просто так. Когда читают, зрачки еле заметно бегают вправо и влево. Лицо у Пал Палыча было хмурое, будто он решал и никак не мог решить трудную задачу.

Я подождал еще немножко и спросил:

— Что же мне делать, Пал Палыч?

Пал Палыч оторвался от книжки, глухо, не глядя на меня, сказал:

— Не знаю, Квасницкий. Сам нашкодил, сам и думай. Я тебе ничего посоветовать не могу.

Никто еще не обижал меня так, как Пал Палыч. У меня закололо в носу и противно задрожали губы. Я отвернулся от Пал Палыча, чтобы он не видел моих слез.

Пал Палыч с шумом отодвинул табуретку и поднялся.

— Ты, Квасницкий, слёз не разводи, нечего,— сказал Пал Палыч.— Мужчина все-таки...

Выждал минутку, а потом подошел ко мне и крепко взял за плечи:

— Вот что, Коля, иди к Лене Курину и все ему расскажи.

— Мне к Леньке идти нечего,— сквозь слезы сказал я.— Мне вообще идти некуда.

— Глупости,— сказал Пал Палыч.— Леня за тебя пострадал, пускай он тебя и судит. Иди-иди. Он парень хороший. Договоритесь до чего-нибудь...

Я вышел за дверь еще более подавленный и пришибленный. Нет, к Леньке Курину я не пойду. Ни за что!

На тропке возле девчачьей палатки я встретил Иру-большую. Она была в новом шелковом галстуке и крас-



пой, завязанной на затылке косынке. Ира-большая была у нас председателем совета отряда, а теперь, когда мы приехали в поселок, стала пионервожатой.

Ира-большая загородила мне дорогу и сказала:

— Коля, ты никуда не уходи. Сегодня у нас пионерский сбор.

Я не сказал Ире ни слова. Обогнул ее с правой стороны и пошел дальше. Почему они все думают, что я буду каждый день куда-то удирать и скрываться в тайге? Дергают, кричат, оскорбляют. Если бы они знали, как мне тяжело! Я один на всем белом свете!

Я даже не спросил Иру, что будет на сборе. Пускай ругают. Пускай даже убьют. Мне все равно. Конечно, если рассуждать логично, говорить про меня не должны. Пал Палыч ясно мне заявил. Не станет же он просто так посылать меня к Леньке Курину!

Чутье не обмануло меня. Никаких обсуждений и проработок на сборе не будет. Наш класс, как сказали мне ребята, вызывает на соревнование седьмой «Б» — кто быстрее и лучше оштукатурит свои дома. Скоро на Виллюй приедут добывать золото рабочие, а жить им негде. Мы штукатуры, и все дело за нами.

Я не боялся проработок, но решил, что ребята поступили правильно. Зачем самим у себя отнимать время? Внутренне благородные люди могут сами перевоспитаться и посмотреть в лицо своим недостаткам.

На сборе было шумно и весело. Сначала Пал Палыч вводил нас в курс дела, потом вышел Ленька Курин и начал читать наш вызов. Ленька читал по тетрадке, а потом, когда вызов окончился, крикнул от себя:

— Мы все равно победим. Ура!

Ударил барабан, и ребята захлопали в ладоши. Я тоже хлопал вместе со всеми. Я, конечно, аплодировал не Леньке, а нашему классу. Наш класс всегда гремел на всю школу. Мы в два счета обставим этих хвастунов!

После сбора был организационный вопрос. Ира-большая сказала, что мы будем вести дневник, подробно записывать туда все наши дела на стройке. Дневник будет большой, вроде альбома. С фотографиями, рисунками, стихами и дружескими шаржами.

— Давайте выберем редколлегия, — сказала Ира-большая. — Прошу называть кандидатуры.

Кандидатуры посыпались, будто из мешка. Кто-то для смеха назвал даже меня и Манича.

Душа у меня тревожно ныла. Если твою кандидатуру не выдвигают, это еще ничего. Можно спокойно смотреть и посмеиваться, как проваливают других. Хуже, если прокатят со звоном тебя самого. Тут уж все сразу поймут, кто ты и что ты.

Я хотел дать самоотвод, то есть заявить, чтобы меня не выбирали, но опоздал, потому что не мог придумать причины. Все случилось как-то быстро и неожиданно. Ира-большая заглянула в бумажку и сказала:

— Следующая кандидатура Коли Квасницкого. Кто просит слова?

Слова никто не просил. Мою кандидатуру не хотели обсуждать. Ребята смотрели друг на друга и смеялись. Это было, конечно, подло. Если кандидатуру выдвигают, надо обсуждать.

После того как Ира пять раз повторила, кто просит слова, к столику, возле которого сидели Ира и Пал Палыч, вышел Ленька Курин. Если б я заранее знал, что скажет этот человек, я швырнул бы в него камнем. Честное слово!

Ленька Курин остановился возле стола, сделал картинную позу и сказал:

— Я возражаю. Квасницкого выбирать нельзя. У него кривые глаза.

Ребята захохотали. Это было глупо и бестактно. Люди, которые смеются над пошлыми шутками, не уважают не только себя, но и остальных.

Над столом поднялся Пал Палыч и сказал:

— Курин, что это такое? Почему ты себя так ведешь?

Ленька никогда не лез в карман за словом.

— Я правильно говорю,— сказал Ленька.— У Квасницкого кривые глаза. Он смотрит прямо, а видит криво. Квасницкому ничего не нравится. Ни стройка. ни ПГТ. Потому и в тайгу убежал. Он все мажет черной краской. Если Квасницкого выберем, он опозорит нас на всю Якутию. Квасницкий нигилист!

Поднялся шум. Ребята кричали, что согласны с Ленькой. Я уверен, делали это они бессознательно и совершенно не знали, что такое нигилист. Мы этого слова не проходили. Полностью показал свою подкладку в эти трудные и неприятные для меня минуты Манич. Сложив ладони рупором, этот тип вопил:

— Доло-ой нигилиста!

Ира-большая с трудом навела порядок. И вообще я видел, Ира старалась проташить мою кандидатуру. Ира-большая дружила с Ирой-маленькой. Я сам слышал, как Ира-маленькая говорила Ире-большой: «Коля Квасницкий хороший человек. Его только надо как следует раскусить». Теперь мне все было совершенно ясно— Ира-большая полностью раскусила меня.

— Ребята,— сказала Ира-большая, когда все утихло.— Коля Квасницкий хороший мальчик. Он лучше всех пишет сочинения. На это глаза закрывать нельзя. Давайте выберем его в редколлегия.

Кто-то снова крикнул, что я нигилист, мажу все черной краской. Кто-то начал хихикать, а дурак Манич ни с того ни с сего захлопал в ладоши. Но Ира-большая уже держала всех в руках.

— Сейчас же прекратите шум! — сказала она.— Мы выберем Квасницкого с испытательным сроком. Если он не исправится, исключим из редколлегии. Это в наших руках.

Ребята снова зашумели. Но уже тише, чем прежде. Видимо, они перестроились и видели, что Ира была кругом права.

— Ребята, ставлю на голосование,— сказала Ира-большая.— Кто за то, чтобы выбрать Колю Квасницкого с испытательным сроком? Прошу поднять руки.

Я ликовал. Вверх, будто по команде, поднялся лес рук. За мою кандидатуру не голосовал только один человек — Ленька Курин.

## Глава пятнадцатая

### ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Слово «соревнование» я услышал и запомнил давно, когда еще только пошел в первый класс. С тех пор оно живет во мне где-то рядом с улицей моего детства и большим утренним солнцем.

В поселке на углу Большой Садовой висел на столбе репродуктор. Он был немножечко похож на чорон, из которого пьют по праздникам вино, и немножечко на сизый лесной колокольчик.

Я дружил с этим колокольчиком, как с добрым хорошим другом. Утром он кричал мне издали уверенным, чуточку хриплым после сна голосом: «Доброе утро!»

Я отвечал: «Доброе утро. Я уже встал. Я иду в школу!»

Если в эту пору на улице никого не было, я кричал громко, если кто-нибудь шел рядом, отвечал вполголоса. Настоящий друг услышит даже самый далекий и тихий шепот.

Репродуктор рассказывал мне по дороге новости. О том, как работают углекопы, как валят деревья лесорубы и соревнуются сталевары. Видимо, слово «соревнование» было самое главное и самое важное в жизни человека. С ним начиналось утро и заканчивался боль-

шой хлопотливый день. Люди узнавали, что они сделали за этот день, и только тогда говорили друг другу «спокойной ночи»!

Я спрашивал свою маму, почему все соревнуются и только мы, мальчишки, стоим в стороне и чего-то ждем. Мама улыбнулась:

— Ты хочешь вырасти раньше времени. У тебя еще все впереди. Учись на пятерки и можешь считать, что ты соревнуешься.

И все-таки один раз я соревновался не условно, а совсем по-настоящему, как взрослые. У папы был день рождения, и мы пригласили много гостей. Мама затеяла шанежки с картошкой. Она поставила на пол две кастрюли, выволокла из закутка мешок с картошкой и сказала:

— А ну, давай соревноваться, кто быстрее!

И тут у нас пошло! Картофелины одна за другой летели в кастрюлю. Даже носа некогда вытереть. Шмыгнешь в себя — и снова за дело. Я порезал палец, но работу не бросил. Пока будешь возиться с бинтами и зеленкой, упустишь все на свете.

Я закончил дело первым. Мама посмотрела на полную с горкой кастрюлю и с завистью сказала:

— Признаю. Ты победил. Только очистки у тебя очень толстые. Если будем так соревноваться, картошки до весны не хватит.

Но так или иначе я чувствовал себя победителем без скидки. Я не мог знать и предвидеть всего, потому что соревновался первый раз в жизни.

Теперь слово «соревнование» снова вошло в мою жизнь. Уже знакомое, но такое же загадочное и удивительное, как прежде. Мы будем соревноваться по-боевому, по-мужски, а это, как хотите, совсем не шутка и не пустяк. Тут, с какой стороны ни смотри, есть над чем поразмыслить.

К месту боя нас привел прораб Афанасьев. Он рас-

толковал, где работать, какой раствор брать в первую очередь, и попутно извинился за прошлые дела. Нам понравилось, что прораб смотрит в лицо своим недостаткам. Правда, помог ему в этом Пал Палыч, но какая разница? Важен итог. Я думаю, с этим должны согласиться все.

Старшим у нас по-прежнему остался Ваня, а Пал Палыч сказал, что он тоже ученик и будет работать вместе с нашим классом. Из-за этого завязался целый спор. Ребята из седьмого «Б» тащили Пал Палыча к себе, а мы не отдавали, потому что Пал Палыч наш. Седьмой «Б» увидел, что ему не удастся переманить чужого классного руководителя, и начал настаивать, чтобы Пал Палыч один день работал у нас, а другой — у них.

С этим мы тоже не согласились. Пал Палыч не футболист, который играет сначала в одной команде, а потом — в другой. Спор, который мог в любую минуту дойти до драки, прекратил сам Пал Палыч. Он сказал, что болеет одинаково за всех и поэтому разделяет объективную точку зрения седьмого «Б». Я до сих пор не знаю, правильно это или неправильно. Я думаю, решить этот вопрос вообще нельзя, потому что таких случаев в жизни еще нигде не встречалось.

Каждому классу дали штукатурировать свой дом и каждому штукатуру свою стенку. Дом пошел на дом и стена на стену. Мне достался второй этаж. Кроме меня, тут была вся наша капелла — Ира-большая, Ира-маленькая и Манич. Леньке и Пал Палычу, который, так же как мы, был штукатуром и учеником, отвели первый этаж.

Мы не теряли ни одной минуты. Каждому хотелось показать, на что он способен, и утереть нос седьмому «Б». Я в успехе не сомневался. Седьмой «А» всегда был и останется седьмым «А».

Был у меня и свой личный план — обставить Леньку Курина. В коридорчике, возле комнаты, где работал Ленька, стоял бачок с водой. Через каждые полчаса я бегал туда и смотрел, как работает Ленька. В живоме

у меня было сплошное наводнение. Но что я мог сделать? Не бегать же в коридорчик просто так...

Похоже, Ленька меня немножко опередил. Это было потому, что работал я не так, как некоторые другие, и нажимал на качество. Урок, который мама задала мне с картошкой, не пропал зря. Стоило посмотреть на мою гладкую, без единой морщинки штукатурку, и все сразу было ясно.

Штукатурка стен — дело тонкое и хитрое. Сначала надо бросить в ячейки из мягких полосок драни жидкий раствор, смочить каждую щелочку и впадинку. Это называется «обрызг». После обрызга на стену кладут густой, вязкий слой раствора — грунт — и уже потом, когда ячейки полным-полнехоньки, будто пчелиные соты, начинают накрывку. Накрыл стену тонкой гладкой пленочкой, затер полутеркой — и порядок!

Я штукатурил свою стенку и представлял, как будет здесь, когда в дом придут первые новоселы. Там, где работает Манич, они поставят кровать, там, где Ира-маленькая, — книжную полку, а вот тут, возле меня, — тумбочку с белым кувшином для цветов. Это будет уже совсем скоро. В комнату с чемоданами в руках войдет мужчина в сереньком простом пиджачке, женщина с узелком, и белокурая девочка с куклой, завернутой в белую тряпочку.

Все втроем они начнут осматривать комнату, пробовать, как запираются шпингалеты на окнах, как брызжет, нетерпеливо фыркает засидевшаяся в кране вода. А потом они распакуют чемоданы и прибьют к стене портрет девочки в белом платье с розовыми веселыми клубничками на подоле. И вмиг комната станет еще краше и пригоже. Штукатурка не даст ни одной трещины, ни одной вмятины, потому что клал ее и затирал полутеркой не кто-нибудь, а настоящий штукатур!..

Настало время обеда. Уже давно простучали по сходням каблуки ребят, а я никак не мог оторваться от ра-

боты. Еще немножко, и я перегоню Леньку. Когда я в последний раз бегал пить воду, я видел, что у Леньки было заштукатурено чуточку больше, чем у меня.

Глядя на меня, работали Ира-большая и Ира-маленькая. Манич не решался уходить один и топтался у порога, как конь. Европейская система питания, как это я не раз наблюдал, дала трещину. В обед Манич не покидал столовой, пока не вычищал миску до самого доньшка.

Снизу послышались крики:

— Эй, Квасницкий, где ты?

Я положил сокол на ящик с раствором и пошел строиться. По дороге я еще раз заглянул в Ленькину комнату. Ленька наштукатурил больше, чем я, но хуже. Это было видно с первого взгляда.

Мысль, что Ленька временно победил меня, не давала мне покоя ни в столовой, ни в палатке, когда наступил тихий послеобеденный час. Я лежал на кровати и злился. Врачи выдумали тихий час для того, чтобы лучше переваривалась пища. И вот я должен лежать как бревно и ждать, пока у меня в животе закончатся химические процессы. Это совершенно нелогично. Процессы — процессами, а работа — работой. Одно не должно мешать другому.

Ребята поворочались немножко и начали засыпать. То в одном месте, то в другом слышался бодрый самоуверенный храп. По-видимому, уснул и Ленька. Он лежал с закрытыми глазами, дышал ровно и глубоко, как умеют делать только спящие. Я спустил ноги с кровати, нащупал ногой тапочки. Если я сейчас выйду, никто мне ничего не скажет. У человека даже во время тихого часа могут быть свои личные дела. От этого не застрахован никто.

Я прибежал на стройку, взял свой сокол и начал с ходу бросать в ячейки раствор. Вокруг было тихо и грустно, как бывает всегда в большом пустом доме. Где-то вдалеке, видимо на самом краю поселка, стучали топоры



плотников и глухо урчал, ворочая глыбы земли, экскаватор. И вдруг я услышал на первом этаже песню. Интересно, кто это может быть? Я спустился на цыпочках вниз и, к удивлению своему, увидел Пал Палыча. Он стоял посреди комнаты и размешивал в ящике деревянным веслом раствор.

Пал Палыч был немного педаант. Он считал, что послеобеденный сон и в самом деле приносит какую-то пользу. Сейчас он наверняка думал, что все ребята лежат в кроватях и переваривают пищу химическим путем. Я послушал песню Пал Палыча и дал задний ход. Не надо лишать людей приятных заблуждений.

Вскоре возле дома послышались голоса. Пришли ребята. Меня, оказывается, никто не разыскивал. Все думали, что я пришел на работу чуть раньше. Никто не спросил меня, почему я только в трусах и майке. У каждого может быть свой вкус и своя мода...

Снова стало весело и шумно в нашем доме. Работали все как звери. Никаких перекуров и пустых разговоров. Вытрешь пот со лба — и снова за дело. Где тут перекуривать, когда седьмой «Б» наступает на самые пятки! Жару поддавал наш инструктор производственного обучения Ваня. Прибежит от наших противников, глянет, кто как работает, и кричит на весь дом:

— Нажимай, братва, седьмой «Б» обгоняет!

Это была военная хитрость. Нам Ваня говорил, что обгоняет седьмой «Б», а седьмому «Б» — наоборот. Вскоре кто-то сбегал к соседям и полностью выяснил картину: седьмой «Б» нас еще не обогнал и вряд ли обгонит. Лучше бы уже сразу подняли руки и сдались.

В конце дня пришел прораб Афанасьев с железной рулеткой. Он промерил, сколько сделали мы и сколько седьмой «Б», что-то подсчитал, заглянул в книжечку со своей знаменитой калькуляцией и сказал:

— У седьмого «А» — сто три процента, у седьмого «Б» — сто один. Пока победил седьмой «А».



— Пока победила седьмой «А»...

Мы обрадовались и даже пропустили мимо ушей слово «пока». Видимо, прораб сказал, что мы победили «пока», непродуманно. Он еще не знал, с кем имеет дело. Больше всех, конечно, радовался я. Наш класс обогнал седьмой «Б» на два процента потому, что я работал во время тихого часа. Это все-таки приятно — принести победу своему классу.

Пал Палыч все время наблюдал за мной и Ленькой — объяснились мы или еще не объяснились. Пал Палыч пока молчал, но он мог в любую минуту спросить:

«Квасницкий, в чем дело?»

Ответить мне Пал Палычу будет совершенно нечего. Конечно, с одной стороны, я не давал слова, что расскажу Леньке про шестеренку. Но, с другой стороны, я не возражал Пал Палычу и тем самым намекнул, что все будет в порядке.

Короче говоря, я решил объясниться с Ленькой. Я не буду становиться перед ним на колени, просить извинения и так далее. Я скажу Леньке, что разбил шестеренку, но Пал Палычу сказать не успел. Я распутывал дело, которое в сто раз важнее шестеренки. Поэтому я и в тайгу бегал. Ленька мог не торопиться со своими признаниями и не лезть куда его не просят. В любом деле нужны терпение и выдержка. Об этом говорил сам Пал Палыч.

Случай поговорить с Ленькой подвернулся сразу же после работы. Ребята занимались чем придется — одни писали домой письма, другие резались в домино, а третьи гасили на волейбольной площадке мячи.

Пришел откуда-то Ленька Курин. Леньке было скучно, так же как и мне. Он посидел немножко возле игровых, а потом, будто бы раздумывая, подошел к кровати и снял со спинки полотенце.

— Ребята, кто со мной купаться?

Леньке не ответили. Когда люди играют в домино, их лучше не трогать.

Ленька подождал еще немножко, пожал плечами и отправился на Вилюй один.

«Пора,— подумал я.— Сейчас или никогда!»

Я догнал Леньку на тропе и пошел с ним рядом. Ленька быстрее — и я быстрее. Ленька тише — и я тише. И Леньке и мне было совершенно ясно: объяснений не избежать. Но Ленька почему-то решил, что первый должен начать я. Он шел по тропе и принципиально молчал.

Из двух людей кто-то всегда окажется умнее. Я пошел еще немножко и сказал:

— А все-таки, Ленька, ты свинья!

Ленька ничего не ответил. Он даже не посмотрел на меня.

— Самая настоящая свинья! — повторил я.— Почему ты назвал меня нигилистом?

По лицу Леньки, будто короткое замыкание, пробежала судорога.

— Потому, что ты нигилист,— сказал Ленька.— Ты только черное видишь. И то ему, видите, не так, и это не так.

Я едва сдержал себя.

— Ты, Ленька, не сгущай! — сказал я.— А то я тоже могу...

Когда человеку нечем крыть, он прекращает спор или пускает в ход кулаки. Ленька скривил физиономию, как будто был кругом прав, и быстро пошел по тропе. Я не дал Леньке уйти. История с шестеренкой сидела у меня в печенке. Я не мог больше молчать и ссориться с Пал Палычем из-за какого-то Леньки.

— Подожди, Ленька,— крикнул я.— Я еще не все сказал!

Но через минуту я уже раскаивался, что рассказал Леньке про шестеренку. Ленька размахивал кулаками и ругался такими словами, за которые надо немедленно вырвать язык вместе с корнем. В заключение Ленька плюнул в меня, но промахнулся и задел только кончик уха.

Мы встретились с Ленькой на тропе врагами и врагами разошлись. Ленька ушел на Вилюй, а я обратно в поселок.

Когда я был у Пал Палыча и честно ему признался, Пал Палыч сказал, что он бессилен, ничего не может придумать, и отправил меня к Леньке. Неужели педагогическая наука зашла в тупик?

До ужина оставалось еще часа два. Но я ходил как пришибленный. Я знал, что теперь уже ничего не могу изменить. Оставалось только ждать и надеяться на какой-нибудь случай. Шансы были неважные. Пока Ленька жив-здоров, на хорошую жизнь надеяться мне нечего.

Пришел с Вилюя Ленька. Он был строг, спокоен и даже немного суров. Так ведут себя люди, когда примут какое-нибудь окончательное, твердое решение. Ленька расправится со мной сегодня. Это было ясно. Такие типы, как Ленька, ждать не будут.

То, чего я ждал, случилось в столовой.

После ужина, когда все уже поели и собрались уходить, Ленька поднялся со своего места и громко сказал: — Ребята, прошу тишины! У меня объявление.

Сердце мое заколотилось. Я посмотрел на Леньку, будто на свою судьбу. В этом взгляде были и тоска, и просьба, и глухая, тяжелая обида. Я защищал Леньку, когда ребята называли его трепачом, давал ему списывать свои контрольные работы, прятал Леньку на чердаке, когда отец применял к нему телесные наказания и насовсем выгонял из дому.

Неужели ты забыл все это, бывший друг Ленька?

Ленька малодушно избежал моего взгляда. Он посмотрел куда-то повыше моей головы и сказал:

— Ребята, шестеренку разбил не я, а Квасницкий. Он сам признался мне и Пал Палычу...

По столовой из конца в конец прокатился гул. Кто-то затопал ногами, кто-то свистнул от удивления, а Манич схватил миску и начал барабанить ложкой по дну.

Ленька перегнулся через стол, вырвал у Манича миску и треснул его по лбу. Шум мгновенно стих.

— Ребята,— сказал Ленька,— Квасницкий разбил шестеренку случайно. Сначала он струсил, а потом перестроился. Я Квасницкого простил. Давайте простим все. Квасницкий мой друг, и я за него ручаюсь. Простим, ребята?

В столовой снова поднялся шум и кутерьма.

— Пр-р-авильно! — кричали со всех сторон. — Порядок! Качать нигилиста!

До самого отбоя шумели возле палаток ребята. Все подходили ко мне и спрашивали, правильно, что мы помирились с Ленькой или Ленька снова отлил какую-нибудь пулю. Я не знал Ленькиных намерений и поэтому говорил про дружбу вообще, не касаясь Леньки. Никто не понял моей хитрости. Ребята были довольны и не заставляли, чтобы я отвечал на вопрос одним словом — «да» или «нет».

Когда все думают, что ты помирился,— надо и в самом деле мириться. Я не помню подробностей, как мы встретились с Ленькой и ушли с ним подальше от палаток, чтобы нас не видела ни одна душа. Мы ходили с Ленькой взад-вперед по тропе и без конца говорили. Казалось, мы не виделись с Ленькой двести лет.

Секретов у друзей нет. Я рассказал Леньке, как выменял у оленьего пастуха пироп, как дрожал ночью в юрте и думал, что придется загорать там целых двадцать лет. Ленька внимательно выслушал меня и сказал:

— Не представляю, как ты можешь жить без меня. Ты ж пропадешь, как щенок!

Ленька всегда был зазнайкой и смотрел на всех со своей колокольни. Но сейчас я промолчал. Придет время, и я вспомню Леньке и щенка, и нигилиста, и вообще все...

Ленька сразу же сказал, что надо писать письмо оленьему пастуху. Пускай ответит, где он нашел пироп

и вообще пироп это или не пироп. Пастух был из колхоза «Кыым», то есть «Искра». Председатель колхоза получит письмо, отправит его пастуху, и все будет в порядке. Просто. Разумно. Логично.

Вечером, когда все ребята легли в кровати, мы взяли с Ленькой чистую тетрадку, конверт и сели к столу. Ребята не сказали мне ни слова. Теперь меня пальцем никто не тронет. Мой друг — староста палатки, а лично я — член редколлегии с испытательным сроком.

Ленька вложил письмо в конверт и четкими, будто в прописях, буквами написал адрес:

«Колхоз «Кыым». Это письмо государственной важности. Просим срочно передать пастуху, который пас оленей возле Вилюя, который выменял алюминиевую флягу, которая раньше была у ученика седьмого класса «А» Квасницкого К. Просим не отказать».

Ленька окончил писать, подчеркнул двумя черточками слова «государственной важности» и передал мне:

— А ну посмотри, ошибок нет?

Я сделал вид, будто не заметил Ленькиных «которых». Леньку хоть учи, хоть не учи, больше тройки по сочинению он все равно не получит.

Мы заклеили письмо и побежали с Ленькой к почтовому ящику. Письма государственной важности надо отправлять немедленно.

## Глава шестнадцатая

### БРИГАДА НОМЕР ОДИН

Скажите честно, кто любит пшеничную кашу без масла, без сала и вообще без ничего? Молчите? Я так и знал. Противная штука. Она напоминает по вкусу опилки. В ней нет ни белков, ни углеводов, ни клетчатки. Это не еда, а мираж.

Утром мы сидели в столовой и ели опилки. За окном шел дождь, на душе было пусто и неуютно. Настоящая

еда висела в меню возле раздаточного окошка. Там были и мясо жар., и котлеты с карт., и макароны с масл., и чай с тягучей, тающей на языке сгущенкой.

Ничего этого повар не приготовил. Машина с продуктами, которую ждали весь вечер, застряла где-то в тайге. Прораб Афанасьев услали навстречу людей с мешками, но от них тоже не было ни слуху ни духу.

Голодный человек может съесть даже полено. Мы умяли миражную кашу, облизали чин по чину ложки и положили возле мисок с правой стороны. Порядок есть порядок.

На дворе дождь, и поэтому Пал Палыч сказал — сегодня можно не строиться. Я открыл дверь и, шлепая по лужам, побегал на стройку. Пять минут, и все уже в сборе. Чуть-чуть мокрые, чуть-чуть голодные, но все равно готовые к новым боям.

Стоп! А где Манич? Он выбежал из столовой раньше всех. Я еще тогда подумал: откуда такая прыть? То жметесь-мнетесь, когда идти на работу, а то — на тебе...

Штукатурить в своей комнате мы начали без Манича. Он пришел только минут через пятнадцать. Губы у Манича лоснились и глаза сияли таким сытым, спокойным блеском, что я сразу понял: этот человек съел по крайней мере двести граммов сала и штук десять коржиков.

— Ты где ходишь? — спросил я Манича.

Манич нахально ответил, что надевал сухие носки и теплую рубашку. У него грипп, а возможно, даже воспаление легких.

Что я мог сделать? Не вскрывать же Манича. Во-первых, я не хирург, а во-вторых, если даже Манича вскрыть, в животе у него ничего не обнаружишь. Сало давно перемешалось с опилками и переварилось.

Я поработал немножко, а потом пошел вниз пить воду. Погремел кружкой, которая висела возле бачка на железной цепочке, потопал ногами, покашлял и этими знаками вызвал в коридор Ленюку.



— Ленька! — сказал я. — Манич лопал сало и коржики!

Ленька даже зубами закрипел от злости.

— Шкура! — сказал Ленька.

— Капиталист! — сказал я.

Гражданское лицо Манича стало нам совершенно ясным.

Ленька подумал еще минутку и сказал:

— Сало заберем сегодня в обед. Понятно?

Идеи у Леньки рождались немедленно. Сало конфискуем во время тихого часа. Манича отправим к плотникам. Прораб Афанасьев сам просил прислать после обеда одного крепкого паренька. Манич крепкий. Он питается салом и коржиками. Там много калорий.

Идея Леньки мне понравилась только в принципе. Манич подымет шум на весь поселок, опозорит и себя и весь наш боевой и гуманный седьмой «А». Лучше подождать, посоветоваться и вообще все взвесить.

— Надо поговорить с Ирой-большой, — сказал я. — Все-таки она пионервожатая...

Ленька дернул плечами:

— Еще чего не хватало! Может, с Ирой-маленькой тоже советоваться?

— Можно! — твердо сказал я. — Ира тоже справедливая. Она чего попало не посоветует.

По лицу Леньки пробежало сомнение. Но это была лишь минутная заминка. Если Ленька что-нибудь решит, его не переубедит никто.

— Девчонок в это дело путать не надо, — категорически сказал Ленька. — Они идеалистки.

Я не знаю точно, что такое идеалистки, но думаю, что Ленька снова переборщил и сгустил краски. Мне непонятно поведение Леньки. Вчера вечером я гулял в тайге возле поселка. На одной березке я случайно увидел вырезанные ножом слова: «Л+И=любовь». Это наверняка вырезал Ленька. Ленька писал про себя и про Иру-большую.

шую. Я в этих делах, конечно, не разбираюсь, но считаю, что человек с размахом идеалистку любить не может. Это совершенно нелогично.

Так мы с Ленькой ни до чего и не договорились. Ленька остался при своем мнении, а я при своем. Я ушел на свой этаж и снова принялся штукатурить стену.

На голодный желудок работать трудно. Мысли мои невольно возвращались к Леньке, Маничу и его сальным запасам. Сколько осталось в закромах Манича коржи-ков, я не знал, но сала там было не меньше двух огром-ных кусков. Кормили нас в столовой хорошо, и Манич поэтому держал сало в заначке, на всякий пожарный случай.

Не представляю, что Ленька сделает с этим салом. Вдвоем пировать мы не будем, потому что это подло, а делиться тоже нельзя. Ребята сразу начнут спраши-вать: откуда сало и почему сало? Еще хуже, если про сало узнает Пал Палыч. Грабежа он не потерпит.

Мои размышления прервал прораб Афанасьев. Он появился в нашей комнате вместе с Пал Палычем и ка-ким-то очень нахальным мальчишкой из седьмого «Б».

— Идите сюда, товарищ прораб,— сказал нахальный мальчишка.— Тут тоже брачок. Мы сами видели.

Прораб, Пал Палыч и представитель седьмого «Б» подошли ко мне и начали разглядывать стенку, которую я штукатурил вчера во время тихого часа. На стенке там и сям темнели тонкие стремительные трещины.

Все согласились с мальчишкой, что это самый на-стоящий брак,— и прораб, и Пал Палыч, и Манич, кото-рый был тут как тут и лез, куда его не просят, со своими глупыми репликами. Между прочим, ликовал он совер-шенно напрасно. У Манича оказался брачок еще похуже, чем у меня.

Подвел меня и вообще весь наш класс седьмой «Б». Еще до завтрака ребята из седьмого «Б» сбегали на стройку, высмотрели там все и рассказали Пал Палычу.

Лично я считаю, Пал Палыч поступил неправильно и зря привел к нам прораба.

Афанасьев придрался не только ко мне и Маничу, но даже к Леньке Курину. Маничу, конечно, на все наплевать. Его только сало интересует. Другое дело мы. Ленька — староста палатки, а я — член редколлегии. Теперь снова все будут придирааться. Если так пойдет и дальше, мой испытательный срок не закончится никогда.

Больше всех переживал инструктор Ваня. Получилось так, как будто бы он плохо нас учил и теперь сам во всем виноват. Когда прораб ушел, Ваня развел возле дома в трех ведерках раствор, поставил их рядом, будто бы собирался делать какие-то опыты или фокусы, и позвал всех нас вниз. Мы уже видели эти ведерки и знали в точности, что будет дальше.

Но все равно Ване никто не сказал поперечного слова. Раз говорят, что повторение — мать учения, — зачем спорить?

Ваня подкатил рукава рубашки, взял в руку легкое деревянное весло и опустил в первое ведро. Поболтал, поколдовал и вынул весло назад. По длинной белой скалке, журча, побежала вниз серая струйка раствора.

— Какой раствор? — строго, будто учитель в классе, спросил Ваня.

— Тощий! — хором ответили мы.

Ваня сказал, что все правильно, добавил, чтобы мы не вздумали штукатурить стены такой дрянью, и полез веслом в следующее ведро. На этот раз раствор прилип к веслу ровным хорошим слоем.

— Нормальный! — крикнули мы, не дожидаясь Ваниного вопроса.

В третьем ведре, как мы и предполагали, оказался жирный раствор. Весло с трудом ворочалось в тяжелой густой каше. Ваня рассказывал про этот раствор и все время поглядывал на Леньку и на меня. Зря я все-таки штукатурил вчера таким раствором. Ведь знал же!

Ваня закончил про жирные растворы, бросил весло в ведро и спросил:

— Теперь поняли?

— Поняли!

— Усвоили!

— Порядочек!

Ваня усмехнулся:

— Ладно. Сто раз слышал. Хвастуны несчастные. Только и знаете, сами себя хвалите. Погодите, как вы сами себя называете?

Ваня воткнул взгляд куда-то вдаль, наморщил лоб.

— Гуманные! — подсказала Ира-большая.

— Да нет.

— Объективные! — сказал Манич.

— Нет.

И вдруг к сердцу у меня подкатило что-то большое и радостное.

— Масштабные! — крикнул я.

Ребята радостно засмеялись. Ваня тоже засмеялся. Он махнул рукой и сказал:

— Ну ладно, масштабные. Идите работать, чтоб вас черт взял!

Трудно смотреть в лицо своим недостаткам, но еще труднее разрушать то, что сделал своими руками. Я стоял лицом к стенке и колотил изо всех сил острым штукатурным молотком. Ваня приказал отодрать всю послеобеденную штукатурку и сделать все заново. Сегодня я должен оштукатурить больше, чем вчера. Если не успею, наш класс погиб.

На обед была та же пшенная каша без ничего и черные пирожки с голубикой. Сочные, горячие и сладкие, как мечта. Жаль, что досталось нам только по одной штуке. Если б меня пустили к духовке, я съел бы без звука штук двадцать. Машин с продуктами и наших ходоков с мешками все еще не было. Дорога от дождя раскисла, стала липкой и скользкой, как мокрое мыло.

Похоже, Ленька не забыл свою затею с салом. После обеда он подошел к Маничу и сказал, чтобы он немедленно отправлялся помогать плотникам. Манич начал отказываться. Он развел антимию про свой грипп, воспаление легких, начал кашлять для вида и сморкаться. Ленька сказал Маничу, что он понимает эти штучки-дрючки и больше не желает с ним разговаривать. Это приказал Пал Палыч. Точка. Конец. Все.

Мы сплывили владельца сального склада к плотникам, а сами отправились в палатку. Разделись, легли и стали думать каждый про свое.

Ленька, который теперь все время лежал из принципа на левом боку, подмигнул мне и тихонько выпустил ноги из-под одеяла.

— У тебя ключ есть? Давай! — шепнул он.

У меня был ключ от своего замка. Но тумбочку я никогда не запираю. Если б тумбочка была у меня раньше, возможно, я хранил бы там свой пироп...

Я также выполз тайком из-под одеяла, сел на корточки возле Леньки и стал смотреть, как он отпирает склад Манича. Ключ оказался меньше, чем надо, и просто-напросто утонул в крепостном замке Манича.

Ребята услышали возню и подняли головы:

— Что там у тебя, Ленька?

Прятаться от ребят теперь было бесполезно. Ленька ударил со злостью кулаком по замку и сказал:

— А ну, ребята, давай сюда ключи!

Ребят будто ветром с кроватей сдуло. На полу перед Ленькой в один момент возникла целая гора ключей — больших, средних и совсем крохотных. Такими ключами можно было наверняка открыть любой сейф с потайными замками и электрическими сигналами. Не брали эти ключи только замка Манича. Он оказался какой-то особой конструкции.

Но Ленька не зря хвастал своими техническими знаниями. Он всунул в щелку замка проволочку, повертел

из стороны в сторону, и все было в порядке. В середине доверчиво щелкнула какая-то пружина, замок крикнул и раскрылся.

Все замерли. Двенадцать лбов сидело на корточках возле тумбочки Манича и смотрело на Леньку, будто на шамана. Ленька спокойно положил замок на пол и дернул за кольцо. Дверца даже не скрипнула. Казалось, кто-то приклеил ее изнутри столярным клеем и приколотил для верности вершковыми гвоздями.

Человек открыл много заковыристых тайн и секретов. Но лучшие открытия, я уверен, принадлежат коллективу. Мы в два счета разгадали секрет потайного склада. Внизу тумбочки, там, где упираются в пол куцые деревянные ножки, мы обнаружили отверстие и в нем короткий, с палец толщиной прут.

Ленька вынул прут из гнезда, и волшебный ларец распахнулся.

Из тумбочки ударил в нос какой-то сложный запах залежавшегося сала, хлебных корок, цвело́й муки и других органических веществ.

Знаменитых коржей в тумбочке не оказалось. Видимо, Манич сгоряча прикончил их утром. На верхней полке лежали завернутые в газету один на другом два огромных куса сала. Один совсем свежий, с красновато-смуглой каемкой мяса на верхушке, а другой — желтый, покрытый мелкой серебристой солью.

Мы начали облизывать губы. Если сало откусывать маленькими ломтиками, его можно есть без хлеба. Я это знал по собственному опыту.

Судьбу сала единолично решил Ленька.

— Сало отдадим в столовую, — сказал он. — Точка. Конец. Все.

Ленька посмотрел на наши скучные физиономии, вынул из кармана ножик и отрезал каждому по крохотному кусочку сала за участие в деле и консультацию. Себе Ленька тоже взял маленький кусочек. В этом нет ниче-

го удивительного. Даже самые масштабные люди могут иметь свои слабости.

Ленька проглотил свой кусочек, пожевал губами и сказал:

— Колька, пойди принеси кирпичи. Там возле палатки лежат.

Я не стал спрашивать Леньку, что и зачем. Ленька начал это дело, пускай он и заканчивает. Я пошел и принес Леньке два больших кирпича. Ленька старательно, как продавец в магазине, завернул в засаленную газету кирпичи, положил в тумбочку и снова запер замок проволочкой.

Ленька молча стоял возле тумбочки. Какие-то важные мысли бороздили его высокий нахмуренный лоб.

— Гвоздь есть? — не глядя на меня, спросил Ленька.

Я снял с вешалки свой комбинезон и подал Леньке гвоздь с двумя крылышками, который подарил мне якут-плотник.

Ленька вытащил из-под кровати молоток, подумал еще секунду и точными, быстрыми ударами всадил гвоздь в крышку тумбочки.

— Давай еще гвоздей, братва!

Гвозди для мальчишек не проблема. Нашлись и гвозди, и шурупы, и даже один огромный ржавый костыль. Минута—и Ленька насмерть окантовал тумбочку со всех сторон гвоздями и шурупами. Посмотрел сверху вниз на свою работу, постучал по крышке молотком, как настоящий мастер, и сказал:

— Пускай теперь откроет!

Ленька оделся, причесался перед зеркалом, а потом завернул сало в газету, взял под мышку, будто портфель, и пошел сдавать провизию на кухню.

После ухода Леньки мы стали обсуждать, правильно мы поступили или неправильно. Получалось так, что действовали мы вполне законно, гуманно, объективно и логично.

Ленька примчался минут через пятнадцать. Он ошалело посмотрел на нас и крикнул:

— Братва, ложись! Манич идет!

Ленька вскочил в свою постель прямо в брюках, рубашке и ботинках. Он накрылся одеялом до самого подбородка и немедленно закрыл глаза. Мы последовали Ленькиному примеру — юркнули под одеяла и привтворились спящими. Палатка огласилась могучим храпом и свистом. Такому порядочку мог позавидовать любой воспитатель.

Манич тихонько открыл дверь и вошел в палатку. Трудно сказать, почему он пришел так скоро. Прогнали плотники, сбежал сам или просто-напросто занес его сюда инстинкт частного собственника.

Манич подошел на цыпочках к своей тумбочке, оглянулся и сел на корточки. Я слышал все — как щелкнул ключ, как Манич вытащил потайной прут, как начал дергать дверцу за железное кольцо. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. Я приоткрыл чуть-чуть глаза и посмотрел на Манича. Мироед стоял, опустив руки, и тупо смотрел на крышку тумбочки. И тут, видимо, в мозгах Манича мелькнула догадка. Он выругался вполголоса и дернул крышку вверх. Но куда там! Крышка даже не скрипнула.

Манич окончательно обалдел. Он поднял с пола молоток, который бросил Ленька, размахнулся и сплеча грохнул по тумбочке. Удар! Еще удар! Крышка тумбочки ахнула и развалилась на части. Забыв обо всем на свете, частный собственник опустил руки в пасть тумбочки и выволок оттуда заветный сверток... Газета треснула. К ногам Манича упали два превосходных розовых кирпича.

Страшный вопль потряс палатку. Манич кричал, ругался и завывал так, что было слышно на другом берегу Вилюя. На шум и крики в палатку прибежал в одной майке Пал Палыч. Он с ходу оценил обстановку, понял,



что никого пока не убили, не зарезали, и сразу успокоился.

— В чем дело? — сурово спросил он Манича.

Несчастный Манич поднял с пола кирпичи и, рыдая, сказал:

— Пал Палыч, вот мое сало. Два куса...

— Староста палатки, что у вас тут происходит? — спросил Пал Палыч.

Ленька вылез из-под одеяла вместе со своими ботинками и застенчиво сказал:

— Я, Пал Палыч, не знаю. Манич разбил тумбочку...

Губы Пал Палыча раздвинулись в улыбке. Но Пал Палыч сдержал себя. Он строго, почти сурово посмотрел на Манича и сказал:

— Маниченко, за порчу казенного имущества объявляю тебе выговор.

Пал Палыч обернулся к нам и уже совсем другим тоном, как умеет говорить только он, добавил:

— Вставайте, ребята. Скоро подъем. Сегодня у нас еще много дел.

Я не буду хвастать и скажу прямо — в этот день итоги у нас были неважные. Помешал нам и брак, который нашли ребята из седьмого «Б», и то, что с нами не было, как всегда, нашего Пал Палыча. Пал Палыч работал за двоих и сразу нагнал седьмому «Б» процентов. Не зря Ваня говорил, что Пал Палычу можно хоть сегодня давать разряд.

В конце дня возле нашего дома появилась большая красная доска с надписью: «Бригада номер один выполнила план на 101 процент, а бригада номер два — на 103 процента». Все перевернулось наоборот: то, что было раньше у нас, теперь стало у седьмого «Б». Я не люблю повторять чужие слова, но сейчас я вынужден сказать: смеется тот, кто смеется последним.

В нашу жизнь вошло новое хорошее слово — бригада. Ребята произносили его и врасстяжку, будто прислушивались к чему-то близкому, но еще не разгаданному до конца, и по-деловому, кратко, и совсем ласково и нежно. Ко мне подошел Ленька Курин. По лицу Леньки я понял: его распирают изнутри какие-то мысли. Ленька смущенно потоптался и сказал:

— Ты, Колька, работай теперь хорошо. Ты — член бригады.

Я не стал возражать Леньке. Я прекрасно понимал, что теперь я не просто Квасницкий, а член производственной бригады номер один.

Продукты, которых мы ждали с таким нетерпением, приехали поздно ночью. Но все равно в столовой в этот вечер был сплошной пир. Мы уминали пшеничную кашу с жареным салом и вздыхали от наслаждения. Вместе с нами ел и Манич. Когда ему попадался на зуб коричневый хрустящий кусочек сала, он морщился и категорически выплевывал на пол.

В этот вечер мы совершенно неожиданно для себя помирились с седьмым «Б». Мы ходили по тропкам вокруг палаток, рассказывали ребятам про историю с салом и про то, что завтра обязательно утрем нос второй бригаде. Ребята из седьмого «Б» не соглашались и лезли в пузырь. Мы не особенно настаивали. Человек становится объективным не сразу. Когда-нибудь это придет и к седьмому «Б».

И все же мы чуть-чуть не поссорились с ребятами из седьмого «Б». Они стали утверждать, будто Пал Палыч больше болеет за них, чем за нас. Это было совершенно нелогично. Лучше было бы нам вообще не отпускать от себя нашего Пал Палыча. Но что мы могли сделать, если Пал Палыч сам разделил себя на две части! Тут мы бессильны и заявляем об этом открыто.

Ира-маленькая раздает возле палаток письма. Мы стоим полукругом и ждем своего счастья. Оно попадет к нам не сразу. Сначала надо спеть песню, рассказать стишок или сделать что-нибудь другое по выбору Иры. Ира-маленькая почтальон, и мы у нее в руках.

Раздача писем похожа на концерт самодеятельности. Тут только небольшая разница: никто не знает заранее исполнителей и программы. Это даже лучше. По крайней мере, нет ни сынков, ни пасынков. Выкликнули твою фамилию, и лезь в круг на общих основаниях.

Сегодня писем много, и поэтому концерт затянулся. Но все равно публика не расходится. В конце пачки может оказаться еще одно, а если повезет, то и два письма.

Вместе со всеми стоят в кругу Пал Палыч и Ваня. Писем они не ждут и присутствуют просто так, в виде вольных зрителей. Уже получили письма и выступили десять человек. Следующее письмо и следующий номер программы Иры-большой. Ира стоит навытяжку и читает стишок. Лицо у нее серьезное и немного испуганное, как у солдат на старинных фотографиях. Ира всегда декламирует длинные стихи с выводом и моралью. Они немножко похожи на правила уличного движения и немножко на пятиминутки, которые проводила с нами Зинаида Борисовна. Несмотря на все это, Ире-большой аплодировали долго и прилежно. Мы люди объективные и хлопали ей за качество исполнения.

Больше всех повезло Леньке Курину. Он получил сразу три письма — от матери, отца и деда.

Ира-маленькая приказала Леньке прокричать три раза «кукареку». По одному «кукареку» за письмо. Ленька прокричал петухом, а потом пролаял сверх программы по-собачьи. Это был коронный номер Леньки. Он всегда исполнял его на «бис».

Ира-маленькая отдала письма Ленке и взяла из пачки новый конверт. Она молча прочла фамилию, посмотрела как-то странно вокруг и снова опустила глаза. Ребята зашумели.

— Кому письмо? Чего молчишь?

— Это письмо не вам,— сказала Ира и запнулась.— Это Пал Палычу... Получите, пожалуйста, Пал Палыч.

Ира подошла к Пал Палычу и подала ему конверт. Пал Палыч никогда не получал писем. Только один раз пришла ему от директора школы открытка с голубым цветочком и размашистой золотой надписью: «Поздравляю с днем рождения».

Пал Палыч взял у Иры-маленькой конверт, посмотрел на него и сразу спрятал в карман. Лицо у него чуть побледнело. Видимо, письмо было не совсем приятное.

Размышлять об этом у меня не было времени. Я сам ждал с минуты на минуту своего письма. Конвертов в пачке оставалось все меньше и меньше. Пять, четыре, два... Счастье не обошло меня стороной. Вот оно, мое письмо! Ира-маленькая громко, будто бы тоже переживала вместе со мной, назвала мою фамилию и подала мне большой синий конверт.

Я смотрел на крупные, старательно выписанные буквы и ничего не понимал. Почерк был совершенно незнакомый. Без завитушек, росчерков и взлетающих вверх спиралей. Так пишут только педантичные первоклассники и старики, которые выучились грамоте на склоне лет.

У всех людей одинаковое отношение к незнакомым письмам. Они вызывают удивление, любопытство и какое-то смутное, томительное предчувствие. Я вскрыл конверт и заглянул краем глаза в письмо. И тут вдруг мне все стало ясно. Чудак, как я сразу не догадался! Это был ответ оленьего пастуха. Я прочел письмо одним духом и помчался разыскивать Ленку. Где он, этот Ленка?

Ленку я нашел неподалеку от нашей палатки. Согнув ноги, он сидел на пенке и читал письмо. Я остано-

вился и смущенно смотрел издали на моего друга. Ленька читал и смеялся. По счастливому, озаренному до самых бровей лицу его текли слезы. Я не знал, что было в письме. Может, отец Леньки понял свои заблуждения и окончательно отказался от телесных наказаний, а может, что-нибудь другое. Ленька всегда был для меня загадкой. Однажды выпоротый Ленька пришел ко мне и стал жаловаться на свою судьбу. Я поддержал Леньку и открыто сказал ему, что я думаю про телесные наказания и вообще про его отца.

Вы бы посмотрели, что сделалось с моим другом. Ленька весь посинел от злости и занес свой кулачище над моей головой.

— Уходи-и! — прохрипел Ленька.— Мой отец лучше всех на свете!

Нет, этот дикарь был для меня совершенно непостижим!

Я постоял еще немножко, покашлял, чтобы Ленька увидел, что это я, а не кто-то другой, и пошел к нему. Ленька встретил меня неприветливо. Он сунул письмо в карман и сказал:

— Чего тебе надо? Отвались от меня!

Но друзья, если они настоящие друзья, всегда найдут общий язык. Минут через пять мы уже сидели вместе с Ленькой, читали и обсуждали письмо оленьего пастуха.

Письмо открыло перед нами краешек какой-то очень простой и в то же время загадочной истории. Много лет назад, когда нас с Ленькой не было на свете, сын оленьего пастуха Егорка убил на озере неподалеку от Вилюя кряковую утку. Это была первая добыча мальчишки. Отец созвал на радостях гостей, познакомил их с новым охотником, а потом дал каждому по чорону вина и ломтику утятин. Гости закусывали, поглядывали на Егорку и одобрительно кивали головой:

— Учугей! Хорошо!

Олений пастух показал гостям между делом маленький красный камешек. Он также был связан с удачливым Егоркой и первой охотой. Пастух нашел камешек в утином zobу, когда потрошил утку. Чиркнул ножом, и камешек упал, будто подарок, в ладонь. Видимо, утка сглотнула его по жадности или рассеянности.

Прошло много лет. Олений пастух просверлил в камешке дырочку, нацепил на нитку и стал носить в память о сыне и его первой охоте. Егорка погиб во время войны с фашистами. Оленьему пастуху прислали в красной четырехугольной коробочке золотистый, похожий на утреннее солнце орден Отечественной войны. Егорка погиб как герой.

В конце своего письма олений пастух нарисовал небольшой, но довольно четкий и понятный рисунок. В самом центре его была юрта, в которой я слушал завывания волка, справа бежал извилистой ниткой Вилюй, а слева — заросшее камышами озерко. У берега плавала утка с большим сплюснутым носом, а против нее стоял с ружьем человек. Это был маленький Егорка.

Письмо оленьего пастуха обрадовало и в то же время огорчило нас. Утка могла проглотить пироп не в этом озере, а где-то совсем в другом месте. Возможно даже, она принесла пироп из Африки или Индии. Не закажешь же утке, куда ей лететь, а куда не лететь.

Долгое время люди считали, что алмаз, а значит, и его спутник пироп встречаются только в жарких странах. Советские ученые и геологи доказали, что это совсем не так. В глухих якутских лесах, притаившись в складках серовато-зеленого кимберлита, сидят до поры в темноте красавцы алмазы. Но сидеть им там уже недолго. Раз советские ученые взялись за дело,— найдут!

Ленька перечитал еще раз письмо и покачал из стороны в сторону головой.

— Ничего с этим озером не выйдет,— сказал он.— Дело дрянь.

Я согласился:

— Конечно, дрянь. Не стоит даже и думать.

Но Ленька стал для виду думать и хмурить брови. Ленька всегда корчит из себя какую-то выдающуюся личность. Запишет неправильно условие задачи и решает, пока не потемнеет в мозгах. И тут ему хоть говори, хоть не говори — все равно не поможет. Ленька вбил себе в голову, будто есть способы, которыми можно решить даже неразрешимую задачу.

Я не хотел снова ссориться с Ленькой и терпеливо ждал. К счастью, думал Ленька недолго. Ленька вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и сказал:

— Мы с тобой дураки!

— Ты потише,— предупредил я Леньку.— Ты не обобщай!

— В самом деле дураки,— повторил Ленька.— Егорка убил утку летом, значит, у нее были утята...

— При чем тут утята? — перебил я Леньку.— У тебя уже началось?

Ленька не обратил внимания на мою реплику.

— Утка утят не бросит и никуда не улетит,— сказал Ленька.— Она целое лето жила на этом озере. Понятно?

В словах Леньки, как это ни странно, был смысл. При таком варианте отпадала сразу Индия, Африка и вообще какие-то другие нездешние озера.

Я не хотел сразу капитулировать. Я поломался немного, сказал Леньке, что сначала надо все взвесить, подумать как следует а потом уже решать. Но Ленька был человек идеен. Он заявил, что ждать больше нельзя ни одной минуты и надо немедленно писать про все моему отцу. Ленька бесцеремонно взял меня за рукав и потащил в палатку писать письмо.

Сесть за письмо мы смогли с Ленькой только поздно вечером. Едва мы примостились возле стола и собрались с мыслями, в палатке появились две Иры. Они были чем-то расстроены.

— Мальчики, у нас ЧП,— перебивая друг друга, заявили Иры.— Надо что-то делать. Так дела бросать нельзя!

Трудно понять девчонок, если они говорят хором и пересказывают с одного на другое. Мы сказали, чтобы Иры говорили по очереди, не размахивали руками, и только тогда поняли, в чем дело. Это и правда было ЧП. Иры ничуть не сгустили краски. Пал Палыч получил сегодня письмо от матери и отца Манича. Они писали, что Пал Палыч плохо воспитывает ребят, разрешает воровать чужое сало и высмеивать друг друга. В конце письма взрослые Маничи сообщали, что будут жаловаться на Пал Палыча, и требовали немедленно отправить Манича в ПГТ.

— Мальчики, надо спасти Пал Палыча,— хором заявили две Иры.

Ира-большая и Ира-маленькая рассказали, как они узнали о письме. Ира-большая была пионервожатой. Она пришла к Пал Палычу, и он сам ей все рассказал.

Но девчонки зря тратили слова и объясняли, что и почему. Сейчас, когда Пал Палычу грозили неприятности, для нас с Ленькой это не имело никакого значения. Нам было абсолютно ясно, откуда дует ветер. Все шло от этого несчастного Манича. Это ж только подумать — жаловаться на Пал Палыча!

Мальчишки возле девчонок всегда кажутся старше и смелее, чем на самом деле.

— Я не знаю, что я ему сделаю! — сказал я.

Ленька метнул краем глаза на Иру-большую и Иру-маленькую и закрипел зубами:

— Я его убью!

Девчонки понимали, что Ленька преувеличивал, но все равно пришли в ужас. Ира-маленькая приложила руку к сердцу и сказала:

— Мальчики, я вас умоляю, не надо этого делать. Манич хороший.



Ленька ничего конкретного Ире не обещал.

— Ладно, там будет видно,— сказал он.— Пошли, Колька!

Манича нашли быстро. Он стоял возле волейбольного поля и провожал мяч взглядом равнодушного наблюдателя. На лице Манича была скука и меланхолия.

— Ты не торопись,— предупредил меня Ленька.— Надо культурненько.

Ленька подошел к Маничу и что-то шепнул ему на ухо. Манич недоверчиво смерил Леньку взглядом и замотал головой:

— Не, я не пойду...

— Вот же чудак! — сказал Ленька.— Ему говорят, а он... Правда, Колька?

Я немедленно подтвердил, что все это абсолютно правильно, и посоветовал Маничу идти с нами, пока мы с Ленькой не передумали. Куда идти и зачем, я, конечно, не знал и сам. Не спрашивать же Леньку при Маниче!

— Пошли,— сказал я Маничу,— не пожалеешь.

Не знаю, что повлияло на Манича,— сила убеждения, которая звучала в моем голосе, или заманчивое предложение Леньки. Но так или иначе Манич согласился. Дружески придерживая мирседа за талию, Ленька повел его в нашу палатку. Я шел на всякий случай сзади. Обстановка в любую минуту могла перемениться, и нужно было быть готовым ко всему.

То, что произошло через несколько минут, было для меня таким же неожиданным, как и для самого Манича. Ленька привел Манича в палатку, обернулся ко мне и сказал:

— Запирай дверь!

Манич бросился к двери, но было уже поздно. Крючок шелкнул, и мышеловка захлопнулась.

— Жаловаться? — шепотом спросил Ленька.— На Пал Палыча? Седьмой «А» позорить?

— Пусти! — застонал Манич.



— Сейчас пушу. Не торопись...

Ленька вынул из тумбочки лист бумаги, положил его посреди стола, рядом поставил чернильницу и положил длинную, обкусанную зубами ручку.

Странные приготовления на этом не окончились. Ленька подошел к печке, поднял толстое, с отставшей корой полено, попробовал на вес и обернулся к Маничу:

— Садись и пиши!

При одном виде полена Манич сейчас же полез за стол. Он даже не спросил Леньку, что придется писать— заметку в стенную газету или завешание с просьбой никого не винить в своей смерти.

В первую минуту я тоже побаивался за жизнь Манича, но потом успокоился. Ленька держал полено с по-

ощрительной и вдохновляющей целью. Манич с тоской поглядывал на это полено, на кончик пера и безропотно писал под Ленкину диктовку письмо своим родным.

На письмо ушло минут пятнадцать. Оно было с неизменными Ленкиными повторениями и длиннотами, но все равно отличалось остротой и самокритикой. Послание Манича к родным начиналось словами: «Я ползучий гад и обманщик...» и заканчивалось просьбой не присылать больше коржиков и сала.

Ленька заставил Манича дважды перечитать вслух готовое письмо. Манич кое-что подредактировал и подчистил во время диктовки. Вместо «ползучего гада» он написал «невоспитанный мальчик», а «брехуна» и «очковтирателя» заменил одним, более мягким и обтекаемым словом — «необъективный».

Маничу мы ничего не сказали. Если его заставить переписывать, он снова начнет редактировать и подчищать. И тогда получится не самокритика, а сплошная похвальная грамота. Лучше уж пускай остается, как есть.

Письменным признанием недостатков дело не закончилось. Ленька отобрал у Манича письмо и спросил:

- Сало в тумбочку прятать будешь?
- Не буду,— тихо и кротко ответил Манич.
- Про Пал Палыча сочинять будешь?
- Не буду,— еще тише сказал Манич.

Ленька, видимо, был доволен ходом дела. Он посмотрел на меня, на Манича и сказал:

- Ну что ж, можешь идти.

Оглядываясь, Манич вылез из-за стола и пошел к двери. И тут Ленька не удержался. Он примерился и влепил Маничу босой ногой такой великолепный удар, которому мог позавидовать любой центральный нападающий.

Придерживая рукой ушибленное место, Манич вылетел в открытую мною дверь.

Наконец начала действовать наша редколлегия. Первое заседание было назначено на шестнадцать ноль-ноль в палатке Пал Палыча. Я надел свои парадные штаны, клетчатую рубашку, воткнул в карман самопишущую ручку и отправился заседать.

Чернила в ручке давно высохли, а острый кончик пера сломался еще в классе, когда я писал сочинение «Кем ты хочешь быть?».

Я не любил ничего фальшивого и показного. Но тут иного выхода у меня не было. Идти на заседание с обыкновенной ручкой и чернильницей-непроливашкой было просто-напросто неприлично.

— Садись, Квасницкий, мы тебя ждем, — сказала Ира-большая, когда я вошел в палатку.

Я не обиделся на Иру за «Квасницкого». Фамильярность сейчас была совершенно недопустима. Это только дома члена редколлегии могут называть Коля, Колян или Котик, как называла меня иногда моя мама.

Члены редколлегии сидели вокруг стола. Посредине в черном блестящем переплете лежал наш дневник. Не знаю, как чувствовали себя остальные, но мне хотелось немедленно сесть за дело. Толстая тетрадка в черном переплете тянула, звала меня к себе.

И все же мне пришлось сдерживать свои порывы. Выдержка и терпение не повредят никому, тем более члену редколлегии с испытательным сроком. Я сел и стал слушать, что говорят ребята.

Сейчас я уже не помню подробностей. Все напирало на то, чтобы дневник был глубокий, содержательный и объективный, чтобы его не стыдно было показать в школе. Придет время, и наш дневник попадет в руки других ребят. И, возможно, они, так же как и мы, захотят приехать в тайгу — всласть поработать штукатурной

теркой, послушать шорох ночного костра, подумать втихомолку о том, что уже произошло и что еще только ждет их впереди. Конечно, один дневник не решит всех сложных и больших дел, которые связала жизнь в один крепкий, тугой узел. Но все равно, даже крохотная капля, если она упала в самую точку, может принести добрую, хорошую пользу.

Об этом разными словами и каждый по-своему говорили Ира-большая, Ира-маленькая и Пал Палыч. Я тоже хотел выступить, но подумал как следует и воздержался. Я не умел с ходу высказывать свои мысли. В голове у меня получалось одно, а на словах совсем другое. На людях я страшно волновался, плел что попало и даже занкался, как самый настоящий заика. Мама думала, что у меня спазмы языка, и водила к врачу-невропатологу. Врач осмотрел язык, заглянул зачем-то в уши и ноздри, а потом щелкнул пальцем по носу и сказал, что спазмов у меня нет и язык абсолютно нормальный. Врач посоветовал мне не волноваться и записывать перед выступлением мысли на бумажку... Я вынул свою ручку, посмотрел на сломанное перо и воткнул обратно. Неужели я всю жизнь буду ходить с бумажкой, как докладчик?

О дневнике говорили долго и подробно.

— Мы должны писать только правду,— сказала Ира-маленькая,— как у нас тут получилось, так и отражать.

Ира-большая всегда соглашалась с Ирой-маленькой. Не успеет Ира-маленькая раскрыть рта, Ира-большая тут же присоединяется к ее мнению и ставит вопрос на голосование. Так получилось и сейчас.

— Правильно,—сказала Ира-большая.—Давайте отразим и вскрыем недостатки. Кто «за», прошу поднять руки.

За недостатки голосовали единогласно. Я знал, на что намекает Ира-большая, но тоже поднял руку. Я голосовал из принципа. В конце концов, если она хочет, я сам могу вскрыть кого угодно. Хоть сейчас!

После голосования начали распределять обязанности. Выбрали редактора, заместителя и фотографа. Мне и еще двум ребятам поручили сбор материала и художественную правку. Я согласился. Художественная правка тоже не шутка. Кому попало такое дело не поручат.

Писать дневник будут все. Кто серьезные статьи, кто стихи, а кто сатиру и юмор. Я думаю, что правильно. Если запузывать с первого до последнего листика статью с выводами и моралью, читать никто не будет. Даже Ира-большая.

После редколлегии я пошел к ребятам собирать материал. Только тут я понял, какой камень повесили на мою шею. Будущие авторы серьезных статей, поэты и сатирики отнекивались и хитрили. Одни заявляли, что заняты по горло какими-то важными делами, другие прикидывались бездарными, больными и так далее.

Если на то пошло, я тоже могу заняться самокритикой. У меня врожденный порок и спазмы языка. Я тоже хочу играть в футбол, купаться в Вилюе и гулять по тайге, как фон-барон!

Но долг, как известно, выше всего. Я плюнул на свои спазмы и снова принялся за дело. К концу дня я нашел двух мальчишек, которых все считали очень сознательными, и спросил их конкретно: «да» или «нет»? Сознательные мальчишки ответили «да». Один поклялся сочинить статейку с выводами и моралью, а другой — стишок на вольную тему. Дело, по существу, было в шляпе. Не хватало только сатиры и юмора. Я вспомнил Леньку Курина и его природный сатирический уклон. Лучшего автора не найдешь. Ленька никогда не будет говорить, что он больной и бездарный. Тут уже все было точно. Леньку я знал.

Вечером я вышел с Ленькой из столовой, взял его под руку и сказал:

- Пойдем, Ленька, поговорим на серьезную тему.
- Письмо от отца пришло? — спросил Ленька.

— Еще не пришло. У меня другая тема.

Я отвел Леньку за деревья, напустил на лицо важное выражение и сказал:

— Ленька, ты должен написать сатирическую статью.

— Ха! — воскликнул Ленька. — Еще чего не хватало!

— То есть как это «ха»! — возмутился я. — Ты же голосовал за дневник?

— Ну и что такого! Я голосовал в принципе.

Я не стал церемониться с Ленькой и вести с ним разъяснительную работу.

— Если слова на тебя не действуют, я приму другие меры, — сказал я.

Кое-кто считал Леньку отчаянным человеком. Носились слухи, что ему сам черт не брат, и так далее. На самом деле Ленька был мнительным и впечатлительным. Ленька услышал про «другие меры» и тут же сдался.

— Ладно, — сказал он. — Если вы все бездарные, напишу.

В душе у меня все запрыгало. Я победил. Один — ноль в мою пользу.

— О чем ты будешь писать? — спросил я Леньку.

Ленька пожал плечами:

— О чем надо, о том и напишу.

— Нет, Ленька, так нельзя, — сказал я. — Я член редколлегии и должен знать.

Ленька закрыл левый глаз, а правым прицелился в меня, будто из рогатки.

— Про тебя напишу. Понятно?

Похоже, Ленька говорил правду. Этот тип мог написать про кого угодно. Даже про своего лучшего друга.

— Ты, Ленька, дурака не валяй, — сказал я. — Я с тобой серьезно говорю. Если хочешь писать сатиру, пиши про Манича. У тебя сатира здорово выходит. Это, наверно, наследственное...

Ленька задумчиво оттопырил нижнюю губу. На лицо его легло минутное сомнение.

— Не,— помедлив, сказал он.— Про Манича я писать не буду. Я на тебя сатиру наведу.

— Как хочешь. Только про меня писать нечего. Это все знают.

Ленька снова прицелился в меня правым глазом.

— Е-есть что,— упрямо сказал он.— Про шестеренку напишу. Такую сатиру наведу, что ахнешь!

Ленька был увлекающаяся натура. Если этому странному человеку взбредет что-нибудь в голову, его уже не остановишь. В одно мгновение Ленька развернул передо мной план своего сатирического пасквиля. Кроме статейки, Ленька пообещал нарисовать на меня дружеский шарж или сфотографировать возле транспортера с молотком в руке.

Сатирик смотрел на меня и ждал одобрения. Глупый человек! Неужели он в самом деле думал, что я возьму молоток и пойду позировать перед аппаратом?

— Это будет не фотообвинение, а подлог,— сказал я Леньке.— Как хочешь, но такого я от тебя не ждал.

Ленька смутился. Губы, щеки и даже кончик носа перекошились у него как-то странно в правую сторону. Так бывает только в минуту большого душевного смятения или тогда, когда тебя шлепнут изо всей силы по физиономии.

— А если дружеский шарж... с длинным носом? — спросил Ленька, когда рот, щеки и все остальное приняло у него нормальное положение.

— На членов редколлегии шаржей не рисуют,— сказал я.— Сам редактор, а сам не знаешь!

Не стоит подробно рассказывать про нашу стычку и про то, как потерпел поражение мой друг Ленька Курин. Скажу кратко: Ленька отказался от сатиры, фотографии и дружеского шаржа с носом. Я снова победил. Два — ноль в мою пользу.

Мне не хочется, чтобы кто-нибудь подумал, будто я трус. Я сказал Леньке, чтобы он написал про меня



краткую хронику. В конце концов, можно сообщить, что я добровольно признал свои ошибки и перевоспитался.

Член редколлегии не обязан думать и сочинять за своих авторов. Но я человек не гордый и с этим не считаюсь. Я сам придумал к хронике два заголовка: «Так должны поступать все» и «Благородный поступок». Пускай выбирает, какой хочет. Я вмешиваться в творческую лабораторию Леньки не собираюсь!

Конфликт с Ленькой мы загладили. Ленька сказал, что принесет хронику через два дня. Я посоветовал Леньке подумать про Манича. Ленька редактор и сам должен понимать, что хороших дневников без сатирических типов не бывает. Мы расстались с Ленькой по-хорошему. Деловые люди всегда найдут общий язык.

Перед отбоем я разговаривал с ребятами, которым поручили собирать материал вместе со мной. Они тоже пришли с уловом. Дело было на мази. Через пару дней мы получили несколько статей, стихов и даже один памфлет. Если Ленька подведет, я сам напишу сатиру на Манича. Я думаю, талант тут ни при чем. Если поднатужиться, можно написать не только сатиру, а вообще все, что угодно.

Я не возлагал больших надежд на Леньку и после отбоя принялся вплотную за сатирическую статейку. Лег на койку, вонзил глаза в потолок и стал думать. Шло время, а я все еще не подобрал ни одной подходящей фразы — дерзкой, смелой, острой. Такой, чтобы сразу поддела под самое ребро.

Разве можно писать, если в палатке творится черт те что!

Ребята сегодня никак не могли уgomониться. Стихнет на минутку все в палатке, и вдруг ни с того ни с сего снова начинаются разговоры, смех, возня. Один запустил через всю палатку подушкой, а другой вообще вскочит с кровати в одних трусах и давай танцевать на потеху всем. Староста палатки Ленька Курин давно спал, а без

него никто не решался проявить инициативу и прекратить беспорядки.

Думать и творить в такой обстановке было совершенно бессмысленно. Для творческого человека первое дело — тишина. Я лично читал в каком-то журнале про одного писателя, который убегал от шума и гама на чердак. Сядет на своем чердаке, как Ленька Курин, и наяривает один рассказ за другим. Мне бежать было некуда. Чердака в палатке нет, а в тайгу ночью идти боязно. Встретишь серого, и будь здоров. Был сатирик, да сплыл.

Но вот в палатке наконец все стихло. Только Манич перевортывался с боку на бок и даже тихонько вздыхал. Я ждал, ждал и все не мог дожждаться, когда он уснет. Не бить же Манича за то, что у него бессонница. Я лежал и мучился. Если писателя, который лазит на чердак, положить рядом с Маничем, он тоже не придумает ни одной строчки.

Я не знаю, почему Манич не спал. Может быть, он догадывался, что я сочиняю про него сатиру, а может, вспомнил разговор с Пал Палычем. Сегодня вечером Пал Палыч вызывал Манича к себе, снимал с него стружку за сало и вообще за то, что он мироед и жила. Пал Палыч сказал, что Манича до конца практики домой не отпустит. Здесь не парк культуры и отдыха, а самая настоящая рабочая стройка. Если Манич не сделает выводов, Пал Палыч вкатит ему двойку за производственную практику. Пускай тогда пишет про свое вонючее сало куда угодно. Хоть в Москву. В Москве двоечников тоже по головке не гладят.

После разговора с Пал Палычем Манич сразу скис. Он пришел в палатку, разделся еще до отбоя и накрылся с головой одеялом. Сон не шел к Маничу. Он лежал под одеялом, как в берлоге, и анализировал свои поступки.

Мне стало даже немного жаль Манича. Что стоило этому дураку подняться и публично признать свои недостатки? Под одеялом все равно до конца не перевоспи-

таешься. Мы люди гуманные и простим Маничу все. Даже то, что он стянул у меня красный пироп.

За целый вечер я не придумал ни одной строчки. Мучился, ругал мироеда Манича и в конце концов уснул.

Утро всегда приносит новые дела и новые заботы. Но это утро у нас было особенное. После подъема, когда мы собрались с полотенцами на Вилюй, в палатку к нам примчался инструктор Ваня. Он был чем-то взволнован и поэтому сыпал словами совершенно без передышки. Понял как следует нашего инструктора только Ленька Курин. Видимо, это было потому, что Ленька целыми вечерами вертелся около Вани. В последнее время Ленька тоже начал говорить на повышенных оборотах и размахивать руками, как Ваня. Я думаю, обезьянничал Ленька совершенно напрасно. У Леньки своих врожденных пороков хоть отбавляй.

Ночью в наш поселок неожиданно-негаданно прикатили рабочие, которые будут добывать золото на Вилую. Ни один дом пока еще не готов, и рабочие поселились вместе с женами и ребятишками в палатках и каких-то самодельных шалашах из сосновых веток. Ваня заявил, что мы должны нажать, разбиться в лепешку, и так далее.

— Я на вас, ребята, надеюсь,— сказал Ваня.

Палаточный городок зашумел, забурился. Прошло минут десять, и мы уже были в столовой. Мы подстегивали друг друга, запихивали в карманы недоеденные куски хлеба, обжигаясь, глотали из алюминиевых кружек чай. Впервые в жизни на нас смотрела вся Европа!

Этот день у меня начался с хорошей, большой радости. Ваня разрешил мне штукатурить наружные стены дома. Чутьку робея, вошел я в длинную дощатую люльку. Тут уже стоял ящик с раствором, лежали сокол с коротенькой ручкой, железная лопатка и моя личная, лучше которой не было на всей стройке, полутерка.

— Вира! — услышал я откуда-то издали голос нашего Вани.— Вира!

Загремели зубцы лебедки, натянулись, будто струны, боковые тросы, и люлька медленно пошла вверх — далеко-далеко, к белым, плывущим над крышей облакам, а потом еще выше — в самый-пресамый космос. Люлька легонько качнулась, ударилась бортом обо что-то твердое и остановилась. Я открыл глаза и увидел перед собой толстый деревянный карниз третьего этажа и заляпанное известью окно.

Сначала я трусил и хватался рукой за деревянный борт. Ваня стоял внизу и внимательно следил за каждым моим движением. Видимо, и ему было знакомо чувство первой робости и первого взлета. Это все-таки не шутка — загреметь вниз с третьего этажа!

Я взял в левую руку сокол, зачерпнул раствора и не торопясь, как учил Ваня, бросил в решетчатые ячейки дроби первую лопатку. Раствор лег тонким ровным слоем. Я мимоходом пригладил крохотные круглые раковины и снова, лопатка за лопаткой, начал класть раствор на стенку.

Я увлекся работой и теперь уже совсем забыл о пропасти, которая отделяла меня от земли. Припекало солнце, пружинили и тихо поскрипывали под ногами доски люльки. Ваня постоял еще немножко внизу и ушел по своим делам. Я остался один на один с небом, солнцем и дерзким, гуляющим в вышине ветерком. Я снял рубашку и стал работать в одном комбинезоне. Тонкие ручейки пота текли по лицу и падали тяжелыми солеными каплями на мои руки. Я не замечал усталости и нажимал на все педали. Ваня разрешил работать в люлке только мне, Леньке и еще двум мальчишкам и двум девчонкам. Как хотите, а это что-нибудь да значило!

Я оштукатурил угол дома и перешел на другую сторону люльки.

— Давай раствор! — крикнул я вниз. — Не задерживай!

Покачиваясь из стороны в сторону, поплыла ко мне

на стальном тросе бадья с раствором. Я опрокинул бадью в ящик и снова взял в руку сокол и легкую за-  
машистую лопатку. Черт возьми, как все-таки хорошо  
быть штукатуром!

Откуда-то снизу, порхая крылышками, прилетел  
и сел мне на руку белый, с черными крапинками моты-  
лек. Но сейчас у меня не было времени любоваться мо-  
тыльками. Я стряхнул залетного гостя с руки и сказал:

— Лети, брат, мне теперь не до тебя!

Возле палаток затрубил горн. Внизу забренчали вед-  
ра, лопаты. Ребята собирались на обед. Около соседнего  
дома загрохотала лебедка. Это спускали вниз верхолаза  
Леньку Курина. Я даже не заметил, как пролетело вре-  
мя. Есть мне не хотелось ни капельки.

Меня спустили последнего. Когда я выбрался из  
люльки, возле дома уже никого не было. Ребята заторо-  
пились и ушли сами. Я стряхнул с комбинезона высох-  
шие крошки раствора, вымыл под краном руки и пошел  
домой.

Я уже дошел до листовенницы, где дорога сворачива-  
ла в наш поселок, и вдруг услышал в стороне какой-то  
отчаянный крик. Кричал, по-видимому, мальчишка или  
девчонка, которые приехали ночью вместе с рабочими.

Я свернул с дороги и пошел к новому лагерю. Вскоре  
я и в самом деле увидел маленького крикуна и еще ка-  
кую-то девчонку, очевидно сестру.

Девчонка сидела по-якутски на корточках возле па-  
латки и чистила картошку. Брат стоял рядом и кричал  
таким превосходным басом и с таким вдохновением, что  
можно было позавидовать.

На мальчишке была красная, разорванная на животе  
безрукавка и черные, выдавшие виды трусы. Руки, ноги  
и даже шея крикуна были в синяках и длинных цара-  
пинах. Каждый синячок неизвестно с какой целью был  
старательно обведен вокруг химическим карандашом.

Я поздоровался с девчонкой и спросил, почему воеет

без передышки владелец шикарных синяков. Девочка бросила в миску с водой очищенную картофелину и неохотно сказала:

— А ну его. Он из меня всю кровь выпил. Сам ударился, а на меня все сваливает. Он у нас всем недоволен. Он только себя любит.

Я не знал, как помочь девочке. Я не умел разговаривать с маленькими детьми, рассказывать сказки, давать соску и так далее. Мальчишек с синяками воспитывать мне тоже не приходилось. Я помялся немножко и, чтобы поддержать разговор, спросил:

— Он что у вас — нигилист?

Девочка серьезно посмотрела на меня и принялась за новую картофелину.

— Не,— сказала она.— Он у нас просто вредный. Он маме все время жалуется. Мама сказала, если у него будут новые синяки, она меня накажет.

— А почему у него синяки в кружочках?—спросил я.

Девочка улыбнулась краешками губ, но потом снова стала серьезной.

— Это я обвела. Он сам синяки набил, а моих тут нет.

Я хотел посоветовать девочке ставить возле каждого синяка номер. Так легче и проще вести учет. Но потом я передумал. Зачем мне навязывать свои методы?

Мальчишка услышал, что мы заговорили о синяках, и снова взвыл таким отчаянным басом, что я даже уши заткнул.

Я гуманный человек и всегда выступаю против телесных методов воспитания. Но тут я не выдержал, снял с комбинезона ремень и потряс им в воздухе.

— Если ты не прекратишь,— сказал я,— я сделаю из тебя шашлык. Учти!

Эффект был поразительный. Мальчишка мгновенно смолк. Он смотрел на меня снизу вверх угольно-черными глазами и, кажется, даже не дышал.

Девочка с благодарностью посмотрела на меня.

— А вы кто будете? — вежливо спросила она. — Вы тоже с папой и мамой приехали?

Когда тебя называют на «вы» такие приятные и самостоятельные девочки, ты сразу становишься на голову выше. Я затянул ремень на самую последнюю дырку, еще раз строго посмотрел на крикуна и стал рассказывать девочке, кто я такой, как и почему приехал на строительство нового поселка. Времени у меня было в обрез, но все равно я успел рассказать приятной и самостоятельной девочке про наш класс, Леньку Курина и даже про то, что сегодня я работал в люльке возле самой крыши трехэтажного дома. И еще я пригласил ее к нам на костер. Мальчишка тоже изъявил готовность прийти к нам в гости. Я разрешил.

Иногда очень трудно понять и оценить встречу с незнакомым человеком. Пройдет время, и ты вдруг вспомнишь ее всю до самой последней черточки, увидишь, какой след оставила она в твоём сердце.

Так случилось и со мной. Через несколько дней я вспомнил девочку и ее крикливого, покрытого синяками снизу доверху братишку. И тут, может быть, впервые в жизни, в мою душу заползло смятение. Я подумал, что и сам, в сущности, ничем не отличаюсь от мальчишки с синяками. Так же как и он, я люблю только себя и, если придется туго, пытаюсь свалить свою вину на других. Я вспоминал все свои проказы, пересчитывал их, будто синяки, и тут же обводил вокруг чернильным карандашом.

Синяков было много. Они толкались, пихали друг друга локтями, пытались захватить лучшее местечко. Один норовил сесть под глазом, другому больше всего нравился нос, а третий, вздохнув, усаживался где-то возле самого уха.

Все это были мои личные сны. Винить было некого.

Нахал, и я еще заставлял Леньку писать про меня статейку «Благородный поступок»!

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ

В субботу возле столовой появилось объявление: «Сегодня состоится общее собрание строителей. Явка обязательна».

Пал Палыч сказал, чтобы мы привели себя в порядок и тоже пошли на собрание. После обеда наша палатка превратилась в комбинат бытового обслуживания. В руках ребят мерцали иголки, посвистывали сапожные щетки, не остывая ни на минуту, потрескивал электрический утюг.

Ребята пришивали пуговицы, клали куда надо заплатки, укорачивали и суживали по всей длине штаны. У дверей с вафельным полотенцем на шее сидел Ленька Курин. Деловито щелкали ножницы, на пол бесшумно падали длинные и черные, как сажа, Ленькины волосы. Леньку стригли по специальному заказу под «ежа».

У меня тоже было немало дел. Я почистил свои парадные штаны, выгладил рубашку, а потом сел возле окна на табурет и стал чинить свои ботинки. Дня два или три назад на ботинке отвалилась подошва. Она подвертывалась кренделем и временами так отчаянно хлопала, что все оборачивались и смотрели на меня. Я задирал ногу выше, чем надо, и даже пытался ходить задом наперед. Но и это тоже было не совсем удобно и приятно.

Я не собирался выступать на собрании, но все равно в таком ботинке идти не решился. Я разыскал кусок проволоки, пробил гвоздем две дырки и закрутил концы мертвым морским узлом. После починки ботинок раз-



дался в ширину и стал похожим на свинью с кольцом в ноздре. Переделывать не было времени. Ира-большая два раза заглядывала в палатку и говорила, чтобы мы шли строиться. Я надел «свинью» и, стараясь не смотреть вниз, пошел в строй.

Собрание решили проводить на вольном воздухе возле новых домов. В них уже поселились рабочие. На окнах висели занавески, в кухнях, каждый на свой лад, шумели примусы и мерцали огоньки керосинок. Моя новая знакомая и мальчишка в синяках также перебрались в новый дом. Два дня назад я приходил к ним в гости. Отец и мать оставляли меня пить чай, но я отказался. Я только посмотрел, как они устроились, и проверил штукатурку. Все было в полном порядке.

И вообще новые рабочие не имели к нам никаких претензий. Они сами приехали раньше, чем надо, и поэтому жили в палатках и шалашах. Прораб Афанасьев публично заявил, что наше строительное управление гремит на всю тайгу. За перевыполнение плана мы получили премию и, наверно, попадем в газету. Иначе, конечно, не могло и быть.

Когда мы пришли к новым домам, народу там уже было полно. Возле дома с красным лозунгом на фасаде — «Добро пожаловать!» — стоял длинный столб, и рядом с ним, просто на земле, лежали какие-то свертки. Видимо, это были премии передовым строителям.

Я сел на скамейку рядом с Ленкой, стал смотреть и слушать. Сначала выбрали президиум, потом прораб Афанасьев начал делать доклад. Афанасьев докладывал без бумажки, и поэтому у него получалось не совсем складно. Он часто повторял одно и то же и при этом страшно смущался и все время вытирал лицо и шею платком. Я вынул втихомолку письмо, которое получил сегодня от отца, и стал перечитывать. Такое письмо можно было читать не только сто, но и двести раз.

Отец писал, что у него с мамой тоже все в порядке.

Он благодарил за письмо и обещал, что обязательно пошлет на озеро какого-нибудь геолога. В письме так и было написано: «Благодарю тебя, сын. Я вижу, ты темного поумнел». Жаль, что отец не замечал у меня раньше ничего хорошего. Что ж, пусть будет так. Издалека человек всегда понятней и видней...

Я снова принялся перечитывать письмо. Но тут Ленка Курин толкнул меня под скамейкой ногой и сказал, чтобы я слушал, а не ловил ворон. Ленка еще ничего не знал о письме. Я получил его после обеда, когда Ленке делали «ежа» по особому заказу. Я спрятал письмо и стал слушать.

Ленка привел меня в чувство не зря. Я чуть-чуть не прозевал самого главного. Прораб рассказал, какие строители лучше всего работали, а потом начал про наш класс и про седьмой «Б». Он заявил, что мы все работали на совесть и заслужили самой высокой оценки по пятибалльной системе.

— Это, товарищи, если хотите знать, самые настоящие масштабные ребята,— сказал прораб.— Давайте скажем им спасибо и похлопаем в ладоши.

Нам аплодировали и даже кричали «ура». Пал Палыч сидел в президиуме вместе с нашим инструктором Ваней. Он что-то сказал Ване и начал хлопать в ладоши сильнее всех. Пал Палыч редко хвалил нас, а получить пятерку у него было просто-напросто невозможно. Лично я думаю, сейчас мы все заработали у Пал Палыча пятерку. Это я видел по его глазам.

Прораб взял длинный список и стал выкликать награжденных. Первым к столу подошел плотник-якут. Только тут я узнал, что его зовут Василием Григорьевичем. Мне стало стыдно. Василий Григорьевич встретил меня, как сына. Он подарил мне гвоздь, а когда я ушел из поселка, отправился с ребятами искать. Как-то я встретил плотника в поселке и даже не поздоровался с ним. Сделать так мог только самый настоящий эгоист.

Прораб Афанасьев разорвал сверток и вынул оттуда прекрасный суконный пиджак. Повертел вокруг, чтобы все могли видеть премию, и подал плотнику.

— Спасибо, Василий Григорьевич, за ваш труд,— сказал Афанасьев и пожал плотнику руку.

Василий Григорьевич натянул обновку поверх своего пиджака и пошел на место веселый и довольный.

— Ур-ра! — крикнул я. — Ур-ра!

Этим я хоть немного искупил свою вину перед хорошим человеком — плотником.

Премий было много. Одним достались часы, другим — отрезы на костюмы, третьим — гармошки, четвертые получили самопишущие ручки и тут же пробовали острие пера на ногте большого пальца.

— Нам тоже дадут премии,— шепнул мне Ленька Курин. — Вот посмотришь!

Ленька не соврал. Прошло еще несколько минут, и к столу вызвали Иру-большую. Иру премировали капроновой косынкой с розовыми и синими цветами. Ира-большая вытянула руки по швам и хотела произнести небольшую речь с выводами и моралью. Но прораб Афанасьев не понял движения Ириной души. Он выкликнул следующую фамилию и взял в руки новый сверток. Ира постояла еще немножко, как артист без роли, и пошла на свое место.

Прораб называл все новые и новые фамилии. Меня в списке, очевидно, не было. Кто я такой, чтобы мне выдавать ценные премии, пожимать руку и кричать «ура»? Меня даже в редколлегию взяли с испытательным сроком.

Я страшно расстроился и даже не заметил, как встал и пошел к столу сидевший рядом со мной Ленька Курин. Ленька отхватил прекрасную гитару с красной лентой на грифе. Я почти с ненавистью смотрел на Леньку и на его гитару. У Леньки от рождения не было никаких музыкальных данных. Только зря вещь пропадет.

Ленька сел рядом со мной, положил гитару на колени и бренькнул по струнам всей пятерней. Вокруг засмеялись.

— Давай, парень, наяривай! — поощрил Ленку какой-то рабочий.

Ленька хотел взять новый аккорд, но прораб прекратил это безобразие. Он строго посмотрел на Ленку, постучал карандашом по столу и сказал:

— Товарищ награжденный, прошу потише!

Прораб вызывал награжденных впережку — то взрослых строителей, то учеников нашего класса и седьмого «Б». Я уже потерял всякую надежду. Мне было обидно. Я работал вместе со всеми и даже штукатурил с люльки третий этаж. Сам Ваня говорил, что я молодец и, возможно, получу сразу второй разряд. Неужели они забыли все это!

В душе у меня кипела буря. Еще немного, и я не сдержу себя и заплачу прямо при всех. Я уже хотел закрыть глаза рукой, чтобы строители не видели моего позора. И вдруг — радость без меры, счастье без конца! Прораб выкликнул мою фамилию:

— Николай Квасницкий, получи премию!

Не чувствуя себя от радости, наступая на чьи-то ноги, выбрался я из-за скамеек и пошел к столу. Никогда в жизни не ожидал я такой премии! Прораб Афанасьев развернул сверток и подал мне самые настоящие рабочие сапоги. У них была твердая с рубчиками подошва, широкие кирзовые голенища и длинные полотняные ушки.

Я даже забыл поблагодарить Афанасьева. Прижал сапоги к груди и помчался на свое место. Я потеснил Ленку, который расселся со своей гитарой, и начал рассматривать обновку. Все было на месте — и рант, и каблук, и круглые железные шляпки гвоздей.

Счастливее меня не было сейчас ни одного человека на свете. Я сбросил с ноги «свинью» с железным коль-

цом, надел правый, а потом левый сапог. Сапоги были чуточку велики. Но это ничего не значило. Если надеть шерстяной чулок, а сверху намотать толстую портянку, все будет в самый раз.

Я уже не слушал, что говорил прораб и кого выкликал к столу. Я любовался своими сапогами. Такие сапоги не купишь в магазине, не получишь в день рождения и даже не выменяешь на самую лучшую вещь. Такие сапоги можно получить только на стройке.

Собрание закончилось. Я шел домой в новых сапогах. Они приятно и мелодично поскрипывали, оставляли на земле четкие строгие узоры. Ребятам обновка тоже понравилась. Некоторые высказывались по этому поводу, а некоторые просто вздыхали и завидовали.

Возле палаток меня догнала Ира-маленькая. Она смущенно посмотрела на меня и сказала:

— Коля, я тебя тоже поздравляю. Ты в этих сапогах очень хорошенький!

Только Леньки Курина не было видно на горизонте. Не сказав мне ни слова, Ленька исчез куда-то со своей музыкальной гитарой. А между тем именно сейчас мне не хватало общества этого человека. Я хотел прочитать ему письмо отца и еще раз показать свои сапоги. Если говорить объективно, мне выдали самую лучшую и самую ценную премию.

Ленька Курин будто сквозь землю провалился. Я заглядывал во все палатки, ходил на площадку, где ребята играли в волейбол, спрашивал всякого встречного-поперечного. Никто ничего не знал. Ленька исчез, испарился без остатка.

Где ж он, в самом деле, этот Ленька? Может, в тайге?

Волоча по земле ноги, чтобы не выйти из новых сапог, я отправился в тайгу. Вскоре я увидел своего приятеля. Ленька сидел на стволе поваленного бурей дерева и пощипывал струны гитары. На лице его были томление и мечта.

Ленька пригласил меня сесть рядом и снова взял гитару наизготовку. Он помедлил минутку, как делают настоящие музыканты, а потом склонил голову и, чуть-чуть высунув язык, ударил по струнам.

— Правда, получается? — спросил Ленька, когда прогремел и замер в лесной тиши последний аккорд.— Это вальс «Дунайские волны».

Я не стал огорчать Леньку и высказывать критические замечания. Если Леньке сказать слово наперекос, он будет тренироваться до самого утра.

— По-моему, тут что-то есть,— сказал я Леньке.— Если бы сюда барабан, было бы совсем здорово. Барабан очень хорошо отбивает такт.

Ленька поверил. Он положил инструмент на траву и приготовился слушать. Ленька и сам понимал, что я пришел в тайгу не для каких-то дунайских волн или мазурок. Я показал Леньке свои сапоги и прочел письмо отца. После того как мы подробно обсудили письмо и попутно ругнули похитителя пиропов Манича, я задал Леньке вопрос на вольную тему.

— Ленька,— сказал я,— я видел на дереве надпись «Л + И = любовь». Ты это в самом деле или просто так?

С Ленькой произошло то, что происходит со всеми влюбленными на свете. Он покраснел и смущенно опустил глаза.

— Это не твое дело,— сказал Ленька.— Подсматривать нечего...

Я напомнил Леньке, что подсматривать не имею моды и надпись обнаружил совершенно случайно. Если Ленька друг, тогда он скажет, а если нет, пускай сам сидит в тайге и слушает свои дунайские волны.

Друг всегда остается другом. Ленька открыл мне свое сердце и признался, что любит Иру-большую еще с третьего класса.

Я с ужасом слушал своего друга:

— Ты целовал ее?

Ленька смотрел на меня, как на человека, который ничего не смыслит в любви.

— Конечно,— серьезно сказал он.— Мы ж с ней влюбленные!

— И она что... не смазала тебя по шее?

Ленька улыбнулся.

— Не,— беспечно сказал он.— Я сразу убежал.

Ленька раскрыл свою душу и вдруг насупился и по-мрачнел. Видимо, он жалел, что рассказал про Иру-большую. Но теперь мне до этого не было никакого дела. Я снялся с якоря и, теряя на ходу сапоги, помчался к Ире-маленькой. Я тоже хотел выяснить наши отношения. Я получил на стройке сапоги, штукатурил с люльки трехэтажный дом. Чем я хуже какого-то Леньки!

Иру-маленькую я нашел возле девчачьей палатки. Она сидела на скамейке и скучала. Я стоял возле Иры-маленькой и не мог сказать ни одного слова. Кое-как я набрался духу и, запинаясь, сказал:

— Ира, пойдем с тобой погуляем!

Лицо Иры озарилось улыбкой, а узенькие черные глаза засверкали.

— За цветами!

— Нет, мы погуляем просто так,— сказал я.— У меня тут одно дело...

Ира-маленькая не поняла намека. Она встала со скамейки и сказала:

— Ты, Коля, подожди немножко. Я пойду переоденусь.

Минут через пять Ира-маленькая вышла из палатки в новом розовом платье и капроновой косыночке, которую выдал сегодня Ире-большой прораб Афанасьев. Я посмотрел на Иру-маленькую и понял, что безумно влюблен в нее.

Мы вошли с Ирой-маленькой в тайгу. Было прохладно и сыро. На земле, усеянной тонкими сосновыми иглами, лежали солнечные блики. Лес встречал нас во всей



*Я посмотрел украдкой на Иру и понял, что никогда  
не смогу сделать этого...*



своей красе. Гордо тянулись в высоту медноствольные сосны и лиственницы, поблескивали зеленой корой осины; на полянах стояли в своих простых сереньких платьицах молчаливые березки.

Я знал по рассказам и видел сам, что влюбленные ходят под ручку. Я подошел к Ире-маленькой и, умирая от страха, взял ее за рукав. Ира вежливо отстранила мою руку и, совершенно не думая о моей любви, сказала:

— Коля, не бери меня за платье, а то помнешь.

Я шел рядом с Ирой как дурак и не знал, что мне делать. Ира молчала и думала о чем-то своем. В глазах ее лучился мягкий, доверчивый и немного грустный свет. Возможно, она просто любовалась тайгой, а возможно, не хотела или не умела высказать всего, что теснилось у нее сейчас в груди.

Вечерело, а я еще даже не намекнул Ире про поцелуй. Я не знаю, как это делать,— спрашивать разрешения или сначала поцеловать, а потом дать, как Ленька Курин, стречка. Если спросить Иру: «да» или «нет», она ни за что не ответит. Ира очень застенчивая и никогда не захочет целоваться с посторонними людьми.

Я даже пожалел, что затеял эту дурацкую историю с поцелуями. Проще было объяснить на словах. Подойти к Ире-маленькой и сказать: «Ира, я тебя люблю до гроба. Давай с тобой дружить».

Я посмотрел украдкой на Иру и понял, что никогда не смогу сделать этого. У меня начнутся спазмы языка, и я вообще наговорю всякой чепухи.

Я задал сам себе вопрос: «Что делать?» — и сам ответил на него: «Давай, Колька, не трусь!»

Я подкрался к Ире, наклонился к ней и с разгона чмокнул в щеку.

Ира отшатнулась от меня и схватилась рукой за щеку, будто ее вовсе не поцеловали, а больно и незаслуженно ударили. Ира смотрела на меня тревожными, испуганными глазами. Брови у нее сошлись на переносице.

сице, а тонкие губы вздрагивали мелкой обидной дрожью.

Я стоял перед Ирой-маленькой, проклинал себя, Леньку Курина и вообще всех, кто выдумал эти глупые, никому не нужные поцелуи.

— Ты чего, Ира? — сказал я. — Я ж нарочно. Разве ты шуток не понимаешь?

Ира долго хмурила свои черные густые брови, а потом недоверчиво посмотрела на меня и сказала:

— Коля, дай слово, что ты больше никогда не будешь меня целовать.

Я много пережил и перестрадал за эти несколько минут. Я дал клятву Ире, что больше никогда не буду ее целовать. Хватит с меня. Теперь я ученый!

На вечерней линейке Пал Палыч сказал, что наша производственная практика подходит к концу и через три дня мы поедем в свой ПГТ.

Мы стояли на полянке возле палаток и молчали. Отшумела, отзвенела таежная жизнь. Теперь не догнать ее на веселом быстроногом олене, не вернуть, как песню, которую начали в одночасье, да так и не успели окончить в коротком походе.

Прощай, тайга, прощайте, милые сердцу палатки и высокие, бегущие на косягор дома. Прощай, всё...

Пал Палыч понимал наше настроение. Он прошелся вдоль линейки из конца в конец, вернулся и стал в самом центре.

— Вы, ребята, не огорчайтесь, — сказал Пал Палыч. — Мы заработали немного денег и теперь можем поехать на экскурсию в Якутск.

Пал Палыч смолк на минутку и вдруг, точно так, как наш инструктор Ваня, сказал:

— А ну, выше голову, братва!

Никто даже не улыбнулся в ответ. Конечно, в тайге для нас не сахар. Но все равно мы не могли бросить

сейчас поселок и уехать развлекаться в Якутск. Правда, за всех до одного я поручиться не могу, но девяносто девять процентов думали именно так.

Мальчишки и девчонки принялись агитировать Пал Палыча. Перебивая друг друга, мы кричали на всю тайгу: «Не хотим, не поедem!» Пал Палыч сдался и сказал, что в принципе согласен. Надо только написать домой письма и попросить разрешения остаться еще на полмесяца.

На линейке решилась и судьба Манича. Пал Палыч не возражал против его отъезда. Он подошел к мироеду и прямо сказал:

— Можешь ехать. Я не задерживаю.

По линейке с одного конца в другой прокатился гул. Мы не желали позорить свою школу. Если оставаться, значит, оставаться всем до одного человека. Пал Палыч прекратил шум движением руки и сказал, что сейчас все зависит от Манича. Не можем же мы сами решать за Манича — оставаться ему или не оставаться.

Мы стояли и ждали, что скажет в эту критическую, а может быть, даже роковую для себя минуту наш Манич. Пускай только заикнется про отъезд!

Манич понял, что против всех не пойдешь. Он потоптался на месте, как привязанный медведь, а потом поднял голову и глухо сказал:

— Пал Палыч, я остаюсь...

На поляне снова поднялся шум и гам. Мы сильные и гуманные люди. Мы перевоспитаем Манича. Мы сделаем из него человека!

По дороге в палатку ко мне привязался Манич. Он шел ухом в ухо со мной, рассказывал ни к селу ни к городу, как мы ехали с ним на машине в поселок, и, кажется, предлагал снова свою дружбу.

Я не прогнал Манича от себя. Пускай идет. Может, он и в самом деле возьмется за ум.

**Глава двадцатая**  
**БЕСЕДА БЕЗ СЛОВ**

Прошло три дня тревог и ожиданий. Все мальчишки и девчонки получили ответы на свои письма. Только мне не было ничего — ни письма, ни телеграммы, ни открытки. Я ходил сам не свой. Неужели придется уезжать!

В мыслях у меня уже рисовалась картина мрачной, одинокой жизни. В ПГТ все подумают, что я малодушный человек, не выдержал трудностей и дал деру со стройки. Даже в библиотеку сходить не рискнешь. Днем появляться на улице стыдно, а ночной библиотеки у нас нет. Придется сидеть целый день дома, изобретать мышеловку и читать старые, читанные-перечитанные книжки.

Слухам и разговорам не будет конца. Вечером возле клуба соберутся люди. Покурить перед кино, поболтать про разные разности. Люди поговорят о том о сем, а потом кто-нибудь бросит на землю окурок, затрет сапогом и станет рассказывать про меня. Про то, как разбил шестеренку, как убежал в тайгу и спасался в юрте оленьего пастуха, как ссорился с ребятами...

Возле клуба будет и Тимофей Шпагоглотатель. Дед Тимофей обожает кино и общество. Этот любознательный по натуре человек всегда вмешивается в чужие дела и дает полезные советы. Услышав тревожные слухи, он не утерпит и явится лично ко мне.

У меня с дедом Тимофеем хорошие, почти приятельские отношения. Как-то раз я даже был у него в гостях. Дед Тимофей показывал мне ложку, которую у него вытащили из желудка специальным крючком, угощал чаем и вел разговоры на медицинские темы.

Дед Тимофей придет ко мне, сядет на табуретку, разотрет рукой свои ревматические колени и скажет:

«Так-то, значит, Колька. Табак твои дела...»

«Почему, дедушка, табак?»

«Почему-почему!» Раз тебя, Колька, из штукатуров выгнали, податься тебе больше некуда. Только в цирк, «Два Бульди-два» представлять».

«Не пойду я в цирк. Пускай хоть зарежут!»

Дед Тимофей ласково глянет на меня узким, слинявшими от старости глазами и покачает головой.

«И я б, Колька, не пошел. А чего ж сделаешь,— кормиться надо...»

Все строители знали про мою беду. Успокаивать меня приходил и Пал Палыч, и Ваня, и плотник Василий Григорьевич, и Ленька Курин, и две Иры.

— Чудак ты,— сказал мне Ленька.— Ты не уезжай, и все. Если отец отлупит, у нас на чердаке будешь жить.

Ленька был легкомысленный человек. Я штукатур и на чердак ни за что не полез. Если б я был писатель, тогда дело другое...

Манич тоже давал мне всякие советы и вился возле меня почему-то больше других. Я думаю, что все дело тут было в пиропах. На следующий день после линейки, где прорабатывали Манича, я полез в карман комбинезона и вдруг нащупал там пиропа. Комбинезон я уже стирал и сто раз вывертывал наизнанку. Никакими пиропами там даже и не пахло.

Но сейчас я не радовался даже пиропу, который подложил мне Манич. Какой теперь толк в пиропах, когда у меня в жизни все развалилось на части! Завтра утром в ПГТ пойдет грузовая машина. Пал Палыч не посмотрит, конечно, на меня и отправит домой. Я Пал Палыча знал. Он слов на ветер не бросал никогда.

Был обеденный перерыв. Я лежал на койке, вспоминал свой вымышленный разговор с дедом Тимофеем и страдал. Видно, и в самом деле придется мне завести собаку-математика и представлять на потеху публике «Два Бульди-два»...

Где-то за палаткой слышались торопливые шаги. Через минуту дверь скрипнула, и в палатку протиснулся



дневальный с красной повязкой на рукаве. Он повертел головой, убедился, что все спят, и приложил, как в лесу, ладони ко рту.

— Квасни-и-цкий,— зашипел он.— Иди скорее, отец приехал!

Не понимая и не веря в то, что произошло, я поднял с подушки голову:

— Чего тебе надо?

— Иди-и, отец приехал. Точно тебе говорю. Он возле прорабской ждет.

Я вскочил с кровати как ошпаренный. Натянул дрожащими руками комбинезон, всунул ноги в свои премиальные сапоги и помчался в прорабскую.

Возле низенькой будки стояла грузовая машина. Подняв серый ребристый капот, в моторе копался шофер. Отец сидел на скамеечке возле прорабской, курил и ждал меня.

Я хотел подбежать к отцу и поцеловать его в щеку. Я подумал мгновение и сдержал свои чувства. Мужчины должны встречаться, как мужчины. Я подошел к отцу и протянул руку:

— Здравствуй, папа!

Отец поздоровался и усадил меня рядом на скамейку.

— Ну, как ты тут живешь, Коля? — спросил отец, разглядывая мой побелевший от стирки комбинезон и премиальные сапоги.

И он еще спрашивает, как я живу!

— Почему ты не ответил на мое письмо? — спросил я.

Отец обнял меня за плечи, притянул к себе:

— А зачем писать? Я сам приехал вместо письма. Ты недоволен?

Судьба моя, все, о чем я думал три последних ужасных дня, должны были решиться сейчас, в эту минуту.

— Значит, ты разрешаешь, папа?

— Конечно, разрешаю, — твердо сказал отец. — Мы с мамой обсудили. Профессия строителя очень хорошая. Это тебе не то что какой-то король джаза...

— Я, папа, про короля не говорил. Это Ленька Курин. Ты ж знаешь, какой Ленька человек...

Отец отпустил мое плечо и посмотрел в глаза, будто проверял, в самом деле говорил про короля джаза Ленька Курин или я хитрю и сваливаю свою вину на других.

Взгляд мой был тверд и ясен. Я органически не переваривал барабана, медных легкомысленных тарелок, пронзительных треугольников и нахальных кастаньет. Король джаза и я были личности диаметрально противоположные.

Отец закурил новую папиросу, стряхнул серый ноздреватый пепел и, продолжая начатый разговор, сказал:

— Я рад, что ты взялся наконец за ум. Пора уже, брат, не маленький...

Когда отец закончил свои внушения, я спросил про геолога, которого он отправил на озеро. Оказалось, отец

схитрил и написал мне в письме совсем не то, что было на самом деле. Отец сам поехал в тайгу и разыскал возле озера в небольшом ручейке красные камни — пиропы.

Я не стал расспрашивать отца, почему он так поступил. По-видимому, он лично хотел найти месторождение алмазов. Я начал разматывать клубочек с пиропом, а отец закончит и доведет до победного конца. Это очень приятно, когда нужное и полезное дело делают и сын, и отец, и вообще вся семья. Я не сомневался, что нас с отцом ждет удача. Отец отправится по красной тропе пиропов и найдет кимберлитовую трубку. И тогда только надо вбить рядом колышек, чтобы не потерять заветное место, и дать новому месторождению алмазов название.

Я намекнул отцу про колышек и чернильный карандаш. Если человек заторопится, он может забыть все на свете. Отец посмотрел на меня своими черными хитроватыми глазами и сказал:

— Ты знаешь, Коля, я совсем упустил это из виду. У тебя есть какое-нибудь предложение?

— Покамест нет, папа...

Отец нахмурил брови, подумал минутку и сказал:

— Давай назовем месторождение Егоркиным. Как ты думаешь?

Слова отца застали меня врасплох. Но раздумывал я только одну минуту.

— Ну конечно, папа, какие могут быть разговоры!

Отец разговаривал со мной ровно полчаса. Он приехал вместо письма, а письмо, даже самое интересное и приятное, не бывает без конца. Отец торопился. Впереди у него были важные дела. Он уезжал разыскивать Егоркино месторождение алмазов.

— До свиданья, сын!

— До свиданья, папа!

Машина заревела, покачалась из стороны в сторону и, подпрыгивая на ухабах, помчалась вперед. Я вспомнил



про свой пироп на толстой суровой нитке. Но было уже поздно. Машина свернула влево и скрылась в лесной чаще.

Ну ничего. Счастливой тебе удачи, папа! Я оставляю красный камень пироп на память о маленьком якутском мальчишке Егорке, отважном солдате и настоящем охотнике.

Через несколько минут седьмой «А» и седьмой «Б» знали, что ко мне приезжал по специальным делам отец и разрешил мне остаться на стройке. Поздравляли меня и Ленька Курин, и Ира-большая, и Манич. Только Ира-маленькая не разделяла почему-то общего ликования и восторга. Она стояла в стороне и смотрела на меня издали своими грустными строгими глазами.

Я подошел к Ире-маленькой и спросил, что с ней случилось и почему она такая кислая. Ира ждала этого вопроса. Она тяжело вздохнула и сказала:

— Коля, Леня Курин сказал, что сегодня Пал Палыч будет проводить беседу на тему «Кем ты хочешь быть?».

Ну и чудачка же эта Ира! Нашла о чем горевать!

Мои слова и мой бодрый тон не успокоили Иру-маленькую. Она взяла меня за пуговицу и, снизив голос до шепота, сказала:

— Коля, я хочу быть балериной. Я больше никем не хочу быть. Я скажу сегодня Пал Палычу. Это будет пионерски или нет?

Только тут я понял, какие сомнения терзают Ирину душу. Я потер для виду пальцем висок, подумал минутку и разрешил Ире-маленькой говорить с Пал Палычем и быть балериной.

В жизни много тропинок и много дорог. Выбирай любую, какая прилась тебе по сердцу, и смело иди вперед. Пусть исполнится Ирина мечта. Я не возражаю. В конце концов, если хорошенько разобраться, балерины тоже масштабные люди...

Вечером мы пришли с Пал Палычем на берег Вилюя. Мы часто приходили сюда. Поговорить, помолчать, подумать о своей жизни. Из тайги выполз и прилег у воды синий задумчивый вечер. И только где-то далеко-далеко, почти у самого горизонта, светилось, остывая на глазах, легкое белое облачко.

Потрескивал, отгоняя комаров, дымокур. Я сидел возле огонька и смотрел на Пал Палыча.

Пал Палыч не начинал почему-то разговора. Может, Ленька соврал, а может, Пал Палыч передумал спрашивать нас, кем мы хотим быть. Пал Палыч курил свою бесконечную папиросу, задумчиво и даже как-то нежно поглядывал на нас. По-видимому, Пал Палычу все было ясно без слов. Масштабных людей видно всегда. Даже тогда, когда они молчат.

1963 г.



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава первая. Кочерга . . . . .	5
Глава вторая. Оперные певцы . . . . .	10
Глава третья. Узник . . . . .	18
Глава четвертая. Конфигурация головы . . . . .	21
Глава пятая. Пал Палыч . . . . .	32
Глава шестая. Мистер Манч . . . . .	37
Глава седьмая. Беда за бедой . . . . .	44
Глава восьмая. Просто Ваня . . . . .	53
Глава девятая. Знай наших! . . . . .	63
Глава десятая. Ночные страхи . . . . .	72
Глава одиннадцатая. «Кайся, ничтожество!..» . . . . .	78
Глава двенадцатая. «Два Бульди-два» . . . . .	85
Глава тринадцатая. В юрте . . . . .	93
Глава четырнадцатая. Нигилист . . . . .	102
Глава пятнадцатая. Письмо государственной важности . . . . .	113
Глава шестнадцатая. Бригада номер один . . . . .	124
Глава семнадцатая. Егоркина утка . . . . .	136
Глава восемнадцатая. Синяки . . . . .	145
Глава девятнадцатая. Мы принимаем решение . . . . .	157
Глава двадцатая. Беседа без слов . . . . .	169



Для среднего возраста

*Печерский Николай Павлович*

**МАСШТАБНЫЕ РЕБЯТА**

Ответственный редактор *Г. В. Быстрова*. Художественный редактор *С. И. Нижняя*.  
Технический редактор *М. А. Кутузова*. Корректоры *Л. И. Дмитриук* и  
*В. П. Мамакина*.

Сдано в набор 7/VII 1970 г. Подписано к печати 15/IX 1970 г. Формат  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. (Уч.-изд. л. 7,98). Тираж 100 000 экз.  
ТП 1971 № 348. Цена 36 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Ко-  
митета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва, Центр. М. Черкас-  
ский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглас-  
полиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, Москва,  
Сущевский вал, 49. Заказ № 919.

